

Блаженный Августин,

еп. Иппонийский

## ИСПОВЕДЬ

(в сокращении)

Содержание

[Книга первая](#)

[Книга вторая](#)

[Книга третья](#)

[Книга четвертая](#)

[Книга пятая](#)

[Книга шестая](#)

[Книга седьмая](#)

[Книга восьмая](#)

[Книга девятая](#)

[Книга десятая](#)

[Книга одиннадцатая](#)

[Книга двенадцатая](#)

[Книга тринадцатая](#)

### Книга первая

«Велик Ты, Господи, и всемерной достоин хвалы; велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя». И славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих; человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты «противостоишь гордым». И все-таки славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы возвзвать к Тебе или с того, чтобы славословить Тебя; надо ли сначала познать Тебя или возвзвать к Тебе. Но кто возвзовет к Тебе, не зная Тебя? Возвзвать не к Тебе, а к кому-то другому может незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо «возвзвать к Тебе?» «Как возвзовут к Тому, в Кого не уверовали? И как поверят Тебе без проповедника? И восхвалят Господа те, кто ищет Его». Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и возвзову к Тебе, веря в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося Сына

Твоего, через служение Исповедника Твоего.

Но как возвозу я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я возвозу к Нему, я призову Его в самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, Который создал небо и землю? Господи, Боже мой! ужели есть во мне нечто, что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которой создал и меня, вмещают Тебя? Но без Тебя не было бы ничего, что существует – значит, все, что существует, вмещает Тебя? Но ведь и я существую; зачем прошу я Тебя прийти ко мне: меня бы не было, если бы Ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя Ты и там. И «если я сойду в ад – Ты там». Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне. Нет, вернее: меня не было бы, не будь я в Тебе, «от Которого все, чрез Которого все, в Котором все». Воистину так, Господи, воистину так. Куда звать мне Тебя, если я в Тебе? И откуда придешь Ты ко мне? Куда, за пределы земли и неба, уйти мне, чтобы оттуда пришел ко мне Господь мой. Который сказал: «Небо и земля полны Мною»?

Итак, вмещают ли Тебя небо и земля, если Ты наполняешь их? Или Ты наполняешь их и еще что-то в Тебе остается, ибо они не вмещают Тебя? И куда изливается этот остаток Твой, когда небо и земля наполнены? Или Тебе не нужно вместилища. Тебе, Который вмещаешь все, ибо то, что Ты наполняешь Ты наполняешь, вмещаешь? Не сосуды, полные Тобой, сообщают Тебе устойчивость: пусть они разбиваются. Ты не выльешься. А когда Ты изливаешься в нас, то не Ты падаешь, но мы воздвигнуты Тобой; не Ты расточаешься, но мы собраны Тобой. И все, что Ты наполняешь, целиком Собой Ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить Тебя, оно вмещает только часть Тебя, – и все сразу вмещают ту же самую часть? Или отдельные создания – отдельные части: большие большую, меньшие меньшую? Итак одна часть в Тебе больше, а другая меньше? Или же повсюду Ты целый и ничто не может вместить Тебя целого?

Что же Ты, Боже мой? Что, как не Господь Бог? «Кто Господь, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего?» Высочайший, Благостнейший, Могущественнейший, Всемогущий, Милосерднейший и Справедливейший; самый Далекий и самый Близкий, Прекраснейший и Сильнейший, Недвижный и Непостижимый; Неизменный, Изменяющий все, вечно Юный и вечно Старый, Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают; вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь;творишь, питаешь и совершенствуешь; ищешь, хотя у Тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься; ревнует и не тревожишься; раскаиваешься и не грустишь; гневаешься и остаешься спокоен; меняешь Свои труды, и не меняешь совета; подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь; никогда не нуждаешься и радуешься прибыли; никогда не бываешь скончан и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы Ты был в долгур, но есть ли у кого что-нибудь, что не Твое? Ты платишь долги, но Ты никому не должен; отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще, Господь мой, Жизнь моя, моя Святая Радость? И что вообще можно сказать, говоря о Тебе? Но горе тем, которые

молчат о Тебе, ибо и речистые онемели.

Кто даст мне отдохнуть в Тебе? Кто даст, чтобы вошел Ты в сердце мое и опьянил его так, чтобы забыл я все зло свое и обнял единое благо свое, Тебя? Что Ты для меня? Сжался и дай говорить. Что я сам для Тебя, что Ты велишь мне любить Тебя и гневаешься, если я этого не делаю, и грозишь мне великими несчастиями? Разве это не великое несчастье не любить Тебя? Горе мне! Скажи мне по милосердию Твоему, Господи, Боже мой, что Ты для меня? «Скажи душе моей: Я – спасение твое». Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего пред Тобой, Господи: открой их и скажи душе моей: «Я спасение твое» Я побегу на этот голос и застигну Тебя. Не скрывай от меня лица Твоего: умру я, не умру, но пусть увижу его.

Тесен дом души моей, чтобы Тебе войти туда: расширь его. Он обваливается, обнови его. Есть в нем, чем оскорбиться взору Твоему: сознаюсь, знаю, но кто приберет его? И кому другому, кроме Тебя, воскликну я: «От тайных грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь раба Твоего». Верю и потому говорю: «Господи, Ты знаешь». Разве не свидетельствовал я перед Тобой «против себя о преступлениях моих, Боже мой? И ты отпустил беззакония сердца моего». Я не сужусь с Тобой, Который есть Истина, и не хочу лгать себе самому, да не солжет себе неправда моя. Нет, я не сужусь с Тобой, ибо «если воззришь Ты на беззакония, Господи, Господи, кто устоит?».

И все-таки позволь мне говорить перед Тобой, Милосердный, мне, «праху и пеплу». Позволь все-таки говорить: к милосердию Твоему, не к человеку, который осмеет меня, обращаюсь я. Может быть, и Ты посмеешься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня. Что хочу я сказать, Господи Боже мой? – только, что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту – сказать ли – мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие Твое, как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых Ты создал меня во времени; сам я об этом не помню. Первым утешением моим было молоко, которым не мать моя и не кормилицы мои наполняли свои груди; Ты через них давал мне пищу, необходимую младенцу по установлению Твоему и по богатствам Твоим, распределенным до глубин творения. Ты дал мне не желать больше, чем Ты давал, а кормилицам моим желание давать мне то, что Ты давал им. По внушенной Тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от Тебя. Для них было благом мое благо, получаемое от них, но оно шло не от них, а через них, ибо от Тебя все блага, и от Господа моего все мое спасение. Я понял это впоследствии, хотя Ты взвыкал ко мне и тогда – дарами извне и в меня вложенными. Уже тогда я умел сосать, успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств – пока это было все.

Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне, и я верю этому, потому что то же я видел и у других младенцев: сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я; хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания

мои были во мне, а окружающие вне меня, и никаким внешним чувством не могли они войти в мою душу. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям, – но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня, или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат как рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы, я узнал по тем, которых смог узнать, и что я был таким же, об этом мне больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные воспитатели мои.

И вот младенчество мое давно уже умерло, а я живу, Господи – Ты, Который живешь всегда, в Котором ничто не умирает, ибо прежде начала веков и прежде всего, о чём можно сказать «прежде», Ты есть, – Ты Бог и Господь всего создания Твоего, – стойки у Тебя причины всего нестойкого, неизменны начала всего изменяющегося, вечен порядок беспорядочного и временного – Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого. Радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому: ни отец, ни мать этого не могли: нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний. Ты смеешься над тем, что я спрашиваю об этом, и велишь за то, что я знаю, восхвалять Тебя и Тебя исповедовать?

Исповедую Тебя, Господи неба и земли, воздавая Тебе хвалу за начало жизни своей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин. Да, я был и жил тогда и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что чувствовал. Откуда такое существо, как не от Тебя, Господи? Разве есть мастер, который создает себя сам? В другом ли месте течет источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет, Ты создаешь нас, Господи, Ты, для Которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо Ты есть совершенное Бытие и совершенная Жизнь. Ты совершен и Ты не изменяешься: у Тебя не проходит сегодняшний день, и, однако, он у Тебя проходит, потому что у Тебя все; ничто не могло бы пройти, если бы Ты не содержал всего. И так как «годы Твои не иссякают», то годы Твои – сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через Твое сегодня; от него получили они облик свой и как-то возникли, и пройдут еще и другие, получат свой облик и как-то возникнут. «Ты же всегда один и тот же»: все завтрашнее и то, что идет за ним, все вчерашнее и то, что позади него, Ты превратишь в сегодня, Ты превратил в сегодня. Что мне, если кто-то не понимает этого? Пусть и он радуется, говоря: «Что же это?» Пусть радуется и предпочитает найти Тебя, не находя, чем находя, не найти Тебя.

Услыши, Господи! Горе грехам людским. И человек говорит это, и Ты жалеешь его, ибо Ты создал его, но греха в нем не создал. Кто напомнит мне о грехе

младенчества моего? Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день. Кто мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в котором я увижу то, чего не помню в себе?

Итак, чем же грешил я тогда? Тем, что, плача, тянулся к груди? Если я поступлю так сейчас и, разинув рот, потянусь не то, что к груди, а к пище, подходящей моему возрасту, то меня по всей справедливости осмеют и выбранят. И тогда, следовательно, я заслуживал браны, но так как я не мог понять бранившего, то было и не принято и не разумно бранить меня. С возрастом мы искореняем и отбрасываем такие привычки. Я не видел сведущего человека, который, подчищая растение, выбрасывал бы хорошие ветви. Хорошо ли, однако, было даже для своего возраста с плачем добиваться даже того, что дано было бы ко вреду? Жестоко негодовать на людей неподвластных, свободных и старших, в том числе и на родителей своих, стараться по мере сил избить людей разумных, не повинующихся по первому требованию потому, что они не слушались приказаний, послушаться которых было бы губительно? Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку: он еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата. Кто не знает таких примеров? Матери и кормилицы говорят, что они искупают это, не знаю какими средствами. Может быть, и это невинность, при источнике молока, щедро изливающемся и преизбыточном, не выносить товарища, совершенно беспомощного, живущего одной только этой пищей? Все эти явления кратко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому, что с годами это пройдет. И Ты подтверждаешь это тем, что то же самое нельзя видеть спокойно в возрасте более старшем.

Господи Боже мой, это Ты дал младенцу жизнь и тело, которое снабдил, как мы видим, чувствами, крепко соединил его члены, украсил его и вложил присущее всякому живому существу стремление к полноте и сохранности жизни. Ты велиишь мне восхвалять Тебя за это, «исповедовать Тебя и воспевать имя Твое, Всевышний», ибо Ты был бы всемогущим и благим, если бы сделал только это, чего не мог сделать никто, кроме Тебя; Единственный, от Которого всякая мера, Прекраснейший, Который все делаешь прекрасным и все упорядочиваешь по закону Своему. Этот возраст, Господи, о котором я не помню, что я жил, относительно которого полагаюсь на других, и в котором, как я догадываюсь по другим младенцам, я как-то действовал, мне не хочется, несмотря на весьма справедливые догадки мои, причислять к этой моей жизни, которой я живу в этом мире. В том, что касается полноты моего забвения, период этот равен тому, который я провел в материнском чреве. И если «я зачат в беззаконии, и во грехах питала меня мать моя во чреве», то где, Боже мой, где, Господи, я, раб Твой, где или когда был невинным? Нет, я пропускаю это время; и что мне до него, когда я не могу отыскать никаких следов его?

Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени, от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество.

Младенчество не исчезло – куда оно ушло? И все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слова, а мальчиком, который

говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигивания, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил; я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших.

Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует: слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мир успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били; старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить; умножены были труд и печаль для сыновей Адама. Я встретил, Господи, людей, молившихся Тебе, и от них узнал, постигая Тебя в меру сил своих, что Ты Кто-то Большой и можешь, даже оставаясь скрытым для наших чувств, услышать нас и помочь нам. И я начал молиться Тебе, «Помощь моя и Прибежище мое»: и, взывая к Тебе, одолел косноязычие свое. Маленький, но с жаром немалым, молился я, чтобы меня не били в школе. И так как Ты не услышал меня – что было не во вред мне, – то взрослые; включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключалось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем.

Есть ли, Господи, человек, столь великий духом, прилепившийся к Тебе такой великой любовью, есть ли, говорю я, человек, который в благочестивой любви своей так высоко настроен, что дыбы, кошки и тому подобные мучения, об избавлении от которых повсеместно с великим трепетом умоляют Тебя, были бы для него нипочем? (Иногда так бывает от некоторой тупости.) Мог бы он смеяться над теми, кто жестоко трусил этого, как смеялись наши родители над мучениями, которым нас, мальчиков, подвергали наши учителя? Я и не переставал их бояться и не переставал просить Тебя об избавлении от них, и

продолжал грешить, меньше упражняясь в письме, в чтении и в обдумывании уроков, чем это от меня требовали. У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть, и за это меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забавы взрослых называются делом, у детей они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых. Одобрят ли справедливый судья побои, которые я терпел за то, что играл в мяч и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразную? Наставник, бивший меня, занимался не тем же, чем я? Если его в каком-нибудь вопросике побеждал ученый собрат, разве его меньше душила желчь и зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч верх надо мною брал товарищ по игре?

И все же я грешил, Господи Боже, все в мире сдерживающий и все создавший; грехи же только сдерживающий, Господи Боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я ведь смог впоследствии на пользу употребить грамоту, которой я, по желанию моих близких, каковы бы ни были их намерения, должен был овладеть. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре; я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тешил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзуживало взглянуть собственными глазами на зрелища, игры старших. Те, кто устраивает их, имеют столь высокий сан, что почти все желают его для детей своих, и в то же время охотно допускают, чтобы их секли, если эти зрелища мешают их учению; родители хотят, чтобы оно дало их детям возможность устраивать такие же зрелища. Взгляни на это, Господи, милосердным оком и освободи нас, уже призывающих Тебя; освободи и тех, кто еще не призывает Тебя; да призовут Тебя, и Ты освободишь их.

Я слышал еще мальчиком о вечной жизни, обещанной нам через уничтожение Господа нашего, нисшедшего к гордости нашей. Я был означен в Его крестным знамением и осолен Его солью по выходе из чрева матери моей, много на Тебя уповавшей. Ты видел, Господи, когда я был еще мальчиком, то однажды я так расхворался от внезапных схваток в животе, что был почти при смерти; Ты видел, Боже мой, ибо уже тогда был Ты хранителем моим, с каким душевным порывом и с какой верой требовал я от благочестивой матери моей и от общей нашей матери Церкви, чтобы меня окрестили во имя Христа Твоего, моего Бога и Господа. И моя мать по плоти, с верой в Тебя бережно вынашивавшая в чистом сердце своем вечное спасение мое, в смятении торопилась омыть меня и приобщить к Святым Твоим Таинствам, Господи Иисусе, ради отпущения грехов моих, как вдруг я выздоровел. Таким образом, очищение мое отложили, как будто необходимо было, чтобы, оставшись жить, я еще больше вывалился в грязь; по-видимому, грязь преступлений, совершенных после этого омовения, вменялась в большую и более страшную вину. Итак, я уже верил, верила моя мать и весь дом, кроме отца, который не одолел, однако, во мне уроков материнского благочестия и не удержал от веры в Христа, в

Которого сам еще не верил. Мать постаралась, чтобы отцом моим был скорее Ты, Господи, чем он, и Ты помог ей взять в этом верх над мужем, которому она, превосходя его, подчинялась, ибо и в этом подчинялась, конечно, Тебе и Твоему повелению.

Господи, я хочу узнать, если Тебе угодно, с каким намерением отложено было тогда мое Крещение: во благо ли отпущены мне были вожжи моим греховным склонностям? или они не были отпущены? Почему и до сих пор в ушах у меня со всех сторон звенит от слова, то об одном человеке, то о другом: «оставь его, пусть делает: ведь он еще не крещен». Когда дело идет о телесном здоровье, мы ведь не говорим: «оставь, пусть его еще ранят: он еще не излечился». Насколько лучше и скорее излечился бы я, заботясь об этом и сам, и вместе со своими близкими, дабы сенью Твоей осенено было душевное спасение, дарованное Тобой. Было бы, конечно, лучше. Какая, однако, буря искушений нависает над человеком по выходе из детства, мать моя это знала и предпочитала, чтобы она разразилась лучше над прахом земным, который потом преобразится, чем над самим образом Божиим.

В детстве моем, которое внушало меньше опасностей, чем юность, я не любил занятий и терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали; меня тем не менее принуждали, и это было хорошо для меня, но сам я делал нехорошо; если бы меня не заставляли, я бы не учился. Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что-то хорошее. И те, кто принуждали меня, поступали нехорошо, а хорошо это оказалось для меня по Твоей воле, Господи. Они ведь только и думали, чтобы я приложил то, чему меня заставляли учиться, к насыщению ненасытной жажды нищего богатства и позорной славы. Ты же, «у Которого сочтены волосы наши», пользовался, на пользу мою, заблуждением всех настаивавших, чтобы я учился, а моим собственным – неохотой к учению, Ты пользовался для наказания моего, которого я вполне заслуживал, я, маленький мальчик и великий грешник. Так через поступавших нехорошо Ты благодетельствовал мне и за мои собственные грехи справедливо воздавал мне. Ты повелел ведь – и так и есть – чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание.

В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий, которым меня пичкали с раннего детства? Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков. Первоначальное обучение чтению, письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Откуда это, как не от греха и житейской суэтности, ибо «я был плотью и дыханием, скитающимся и не возвращающимся». Это первоначальное обучение, давшее мне в конце концов возможность и читать написанное и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждания какого-то Энея, забывая о своих собственных; плакать над умершей Дионой, покончившей с собой от любви, – и это в то время, когда я не проливал, несчастный, слез над собою самим, умирая среди этих занятий для Тебя, Господи, Жизнь моя.

Что может быть жалостнее жалкого, который не жалеет себя и оплакивает Диону, умершую от любви к Энею, и не оплакивает себя, умирающего потому, что нет в нем любви к Тебе, Господи, Свет, освещающий сердце мое; Хлеб для уст души моей, Сила, оплодотворяющая разум мой и лоно мысли моей. Я не любил Тебя, я изменил Тебе, и клики одобрения звенели вокруг изменника. Дружба с этим миром – измена Тебе: ее приветствуют и одобряют, чтобы человек стыдился, если он ведет себя не так, как все. И я не плакал об этом, а плакал о Дионе, «угасшей, проследовавшей к последнему пределу» – я, следовавший сам за последними созданиями Твоими, покинувший Тебя, я, земля, идущая в землю. И я загрустил бы, если бы мне запретили это чтение, потому что не мог бы читать книгу, над которой грустил. И эти глупости считаются более почтенным и высоким образованием, чем обучение чтению и письму.

Господи, да воскликнет сейчас в душе моей и да скажет мне правда Твоя: «Это не так, это не так». Гораздо выше, конечно, простая грамота. Я готов скорее позабыть о блужданиях Энея и обо всем прочем в том же роде, чем разучиться читать и писать. Над входом в школы грамматиков свисают полотнища, но это не знак тайны, внушающей уважение; это прикрытие заблуждения. Да не поднимают против меня крика те, кого я уже не боюсь, исповедуясь Тебе, Боже мой, в том, чего хочет душа моя: я успокаиваюсь осуждением злых путей своих, дабы возлюбить благие пути Твои. Да не поднимают против меня крика продавцы и покупатели литературной премудрости; ведь если я предложу им вопрос, правду ли говорит поэт, что Эней когда-то прибыл в Карфаген, то менее образованные скажут, что они не знают, а те, кто пообразованнее, определенно ответят, что это неправда. Если же я спрошу, из каких букв состоит имя «Эней», то все, выучившиеся грамоте, ответят мне правильно, в соответствии с тем уговором, по которому людям заблагорассудилось установить смысл этих знаков. И если я спрошу, от чего у них в жизни произойдет больше затруднений: от того ли, что они позабудут грамоту, или от того, что позабудут эти поэтические вымыслы, то разве не очевидно, как ответит человек, находящийся в здравом уме? Я грешил, следовательно, мальчиком, предпочитая пустые рассказы полезным урокам, вернее сказать, ненавидя одни и любя другие. Один да один – два; два да два – четыре; мне ненавистно было тянуть эту песню и сладостно было суетное зрелище: деревянный конь, полный вооруженных, пожар Трои и «тень Креусы самой».

Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплетать такие басни; в своей суности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думаю, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляют изучать его так же, как меня Гомера. Трудности, очевидно обычные трудности при изучении чужого языка, окропили, словно желчью, всю прелест греческих баснословий. Я не знал ведь еще ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни срока и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я, малюткой, не знал ни одного слова по-

латыни, но я выучился ей на слух, безо всякого страха и мучений, от кормилиц, шутивших и игравших со мной, среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения, ибо сердце мое понуждало рожать зачатое, а родить было невозможно, не выучи я, не за уроками, а в разговоре, тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал. Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. Течению первой ставит плотину вторая – по законам Твоим, Господи, по законам Твоим, управляющим и учительской линейкой и искушениями праведников, – по законам, которыми властно определено литься спасительной горечи, призывающей нас обратно к Тебе от ядовитой сладости, заставившей отойти от Тебя.

Услыши, Господи, молитву мою, да не ослабнет душа моя под началом Твоим, да не ослабну я, свидетельствуя пред Тобою о милосердии Твоем, исхитившем меня от всех злых путей моих; стань для меня сладостнее всех соблазнов, увлекавших меня; да возлюблю Тебя всеми силами, прильну к руке Твоей всем сердцем своим; избавь меня от всякого искушения до конца дней моих. Вот, Господи, Ты Царь мой и Бог мой, и да служит Тебе все доброе, чему я выучился мальчиком, да служит Тебе и слово мое и писание и чтение и счет. Когда я занимался суэтной наукой, Ты взял меня под свое начало и отпустил мне грех моего увлечения этой суэтой. Я ведь выучил и там много полезных слов, хотя им можно было научиться, занимаясь предметами и не суэтными: вот верный путь, по которому должны бы идти дети.

Горе тебе, людской обычай, подхватывающий нас потоком своим! Кто воспротивится тебе? Когда же ты иссохнешь? Доколе будешь уносить сынов Евы в огромное и страшное море, которое с трудом переплывают и взошедшие на корабль? Разве не читал я, увлекаемый этим потоком, о Юпитере, и гремящем и прелюбодействующем? Это невозможно одновременно, но так написано, чтобы изобразить, как настоящее, прелюбодеяние, совершающееся под грохот мнимого грома – сводника. Кто из этих учителей в плащах трезвым ухом прислушивается к словам человека, созданного из того же праха и воскликнувшего: «Это выдумки Гомера: человеческие свойства он перенес на богов, – я предпочел бы, чтобы божественные – на нас»? Правильнее, однако, сказать, что выдумки – выдумками; но когда преступным людям приписывают божественное достоинство, то преступления перестают считаться преступлениями, и совершающий их кажется подражателем не потерянных людей, а самих богов – небожителей.

И однако, в тебя, адский поток, бросают сынов человеческих, чтобы они учили это, притом еще за плату! Какое великое дело делается, делается публично, на форуме пред лицом законов, назначающих сверх платы от учеников еще плату от города! Ты ударяешься волнами о свои скалы и звенишь: «Тут учатся словам, тут приобретают красноречие, совершенно необходимое, чтобы убеждать и развивать свои мысли». Мы действительно не узнали бы таких слов, как: «золотой дождь», «лоно», «обман», «небесный храм» и прочих слов, там написанных, если бы Теренций не вывел молодого повесу; который, рассмотрев

нарисованную на стене картину, берет себе в разврате за образец Юпитера. На картине было изображено, каким образом Юпитер некогда пролил в лоно Данай золотой дождь и обманул женщину. И посмотри, как он разжигает в себе похоть, как будто поучаемый с небес: «И бог какой, великим громом храм небесный сотрясавший! Ну как не совершить того же мне, человеку малому?»

Нет, неверно, неверно, что легче заучить эти слова в силу их мерзкого содержания; такие слова позволяют спокойнее совершать эти мерзости. Я осуждаю не слова, эти отборные и драгоценные сосуды, а то вино заблуждения, которое подносят нам в них пьяные учителя; если бы мы его не пили, нас бы секли и не позволили позвать в судьи трезвого человека. И однако, Боже мой, пред очами Твоими я могу уже спокойно вспоминать об этом: я охотно этому учился, наслаждался этим, несчастный, и поэтому меня называли мальчиком, подающим большие надежды.

Позволь мне, Господи, рассказать, на какие бредни растрачивал я способности мои, дарованные Тобой. Мне предложена была задача, не дававшая душе моей покоя: произнести речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя тевкров. Наградой была похвала; наказанием – позор и розги. Я никогда не слышал, чтобы Юнона произносила такую речь, но нас заставляли блуждать по следам поэтических выдумок и в прозе сказать так, как было сказано поэтом в стихах. Особенно хвалили того, кто сумел выпукло и похоже изобразить гнев и печаль в соответствии с достоинством вымышленного лица и одеть свои мысли в подходящие слова. Что мне с того, Боже мой, истинная Жизнь моя! Что мне с того, что мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер? Не было разве других тем, чтобы упражнять мои способности и мой язык? Славословия Тебе, Господи, славословия Тебе из Писания Твоего должны были служить опорой побегам сердца моего! Его не схватили бы пустые безделки, как жалкую добычу крылатой стаи. Не на один ведь лад приносится жертва ангелами-отступниками.

Удивительно ли, что меня уносило суетой, и я уходил от тебя, Господи, во внешнее? Мне ведь в качестве примера ставили людей, приходивших в замешательство от упреков в варваризме или солецизме, допущенном ими в сообщении о своем хорошем поступке, и гордившихся похвалами за рассказ о своих похождениях, если он был велеречив и украшен, составлен в словах верных и правильно согласованных. Ты видишь это, Господи, – и молчишь, – «долготерпеливый, многомилостивый и справедливый». Всегда ли будешь молчать? И сейчас вырываешь Ты из этой бездонной пропасти душу, ищущую Тебя и жаждущую услады Твоей, человека, «чье сердце говорит Тебе: я искал лица Твоего; лицо Твое, Господи, я буду искать». Далек от лица Твоего был я, омраченный страстью. От Тебя ведь уходят и к Тебе возвращаются не ногами и не в пространстве. Разве Твой младший сын искал для себя лошадей, повозку или корабль? Разве он улетел на видимых крыльях или отправился в дорогу пешком, чтобы, живя в дальней стороне, расточить и растратить состояние, которое Ты дал ему перед уходом? Ты дал его, нежный Отец, и был еще нежнее

к вернувшемуся нищему. Он жил в распутстве, то есть во мраке страстей, а это и значит быть далеко от лица Твоего.

Посмотри, Господи, и терпеливо, как Ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от Тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово homo без приыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям Твоим, он, человек, будет ненавидеть человека. Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь. Как далек Ты, обитающий на высотах в молчании, Господи, Единый, Великий, посылающий по неусыпному закону карающую слепоту на недозволенные страсти! Когда человек в погоне за славой красноречивого оратора перед человеком — судьей, окруженный толпой людей, преследует в бесчеловечной ненависти врага своего, он всячески осторегается обмоловки «среди людей» и вовсе не осторежется в неистовстве своем убрать человека из среды людей.

Вот на пороге какой жизни находился я, несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем осторечься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю Тебе об этом, Господи, и исповедую пред Тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую «был брошен прочь от очей Твоих». Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателя, и учителей, и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья. Я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были tanto же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко брали? А если меня уличали и брали, я свирепел, а не уступал.

И это детская невинность? Нет, Господи, нет! Позволь мне сказать это, Боже мой. Все это одинаково: в начале жизни — воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробы; когда же человек стал взрослым — префекты, цари, золото, поместья, рабы, — в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Когда Ты сказал, Царь наш: «Таковых есть Царство Небесное», Ты одобрил смижение, символ которого — маленькая фигурка ребенка.

И все же, Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель

вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста. Я был уже тогда, я жил и чувствовал; я заботился о своей Сохранности – след таинственного единства, из которого я возник. Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умиллялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества. Что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе?

И все это дары Бога моего; не сам я дал их себе; все это хорошо, и все это – я. Благ, следовательно, Тот, Кто создал меня, и Сам Он благо мое, и, ликуя, благодарю я Его за все блага, благодаря которым я существовал с детского возраста. Грешил же я в том, что искал наслаждения, высоты и истины не в Нем самом, а в созданиях Его: в себе и в других, – и таким образом впадал в страдания, смуту и ошибки.

Благодарю Тебя, радость моя, честь моя, опора моя, Боже мой; благодарю Тебя за дары Твои: сохрани их мне. Так сохранишь Ты меня, и то, что Ты дал мне, увеличится и усовершится, и сам я буду с Тобой, ибо и самую жизнь Ты даровал мне.

## Книга вторая

Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить Тебя, Боже мой. Из любви к любви Твоей делаю я это, в горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. Обрадуй меня, Господи, Радость неложная, Радость счастья и безмятежности, собери меня, в рассеянии и раздробленности своей отвратившегося от Тебя, Единого, и потерявшегося во многом. Когда-то в юности горело сердце мое насытиться адом, не убоялась душа моя густо зарости бурьяном темной любви, истаяла красота моя, и стал я гнилью пред очами Твоими, – нравясь себе и желая нравиться очам людским.

Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бывшей ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизам страстей и погружали его в бездну пороков.

Возобладал надо мною гнев Твой, а я и не знал этого. Оглох я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей. Я уходил все дальше от Тебя, и Ты позволял это; я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и Ты молчал. О, поздняя Радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от Тебя, в гордости падения и беспокойной усталости выращивая богатый посев бесплодных печалей.

Кто упорядочил бы скорбь мою, обратил бы мне на пользу ускользающую прелесть всякой новизны, поставил бы предел моим увлечениям? Пусть бы о берег супружеской жизни разбилась буря моего возраста, и если уж не может в нем быть покоя, пусть бы удовлетворился я рождением детей, согласно предписаниям закона твоего, Господи! Ты создаешь потомство нам, смертным, и можешь ласковой рукой обломать острые колючки, которые не растут в раю Твоем. Недалеко от нас всемогущество Твое, даже если мы далеко от Тебя. Если бы внимательнее прислушался я к голосу облаков Твоих: «Будут иметь скорби по плоти, и Я избавлю вас от них», и «хорошо человеку не касаться женщины», и «неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». К этим словам внимательнее бы прислушаться! Оскопленный ради Царства Небесного, я, счастливый, ожидал бы объятий Твоих.

Страсти кипели во мне, несчастном; увлеченный их бурным потоком, я оставил Тебя, я преступил все законы Твои и не ушел от бича Твоего; а кто из смертных ушел? Ты всегда около, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои, – да ищу радость, не знающую разочарования. Только в Тебе и мог бы я найти ее, только в Тебе, Господи, Который создаешь печаль в поучение, поражаешь, чтобы излечить, убиваешь, чтобы мы не умерли без Тебя.

Где был я? Как далеко скитался от счастливого дома Твоего в этом шестнадцатилетнем возрасте моей плоти, когда надо мною подъяла скипетр свой целиком меня покорившая безумная похоть, людским неблагообразием дозволенная, законами Твоими неразрешенная. Мои близкие не позабылись подхватить меня, падающего, и оженить; их заботило только, чтобы я выучился как можно лучше говорить и убеждать своей речью.

На этот год занятия мои, впрочем, были прерваны: я вернулся из Мадавры, соседнего города, куда было переехал для изучения литературы и ораторского искусства; копили деньги для более далекой поездки в Карфаген, которой требовало отцовское честолюбие и не позволяли его средства: был он в Тагасте человеком довольно бедным. Кому рассказываю я это? Не Тебе, Господи, но перед Тобою рассказываю семье моей, семье людской, как бы ничтожно ни было число тех, кому попадется в руки эта книга. И зачем? Конечно, чтобы я и всякий читающий подумали, «из какой бездны приходится взывать к Тебе» А что ближе ушей Твоих к сердцу, которое исповедуется Тебе и живет по вере Твоей?

Кто не превозносил тогда похвалами моего земного отца за то, что он тратился на сына сверх своих средств, предоставляя ему даже возможность далеко уехать ради учения. Очень многие, гораздо более состоятельные горожане, не делали для детей своих ничего подобного. И в то же время этот отец не обращал никакого внимания, каким расту я перед Тобою и пребываю ли в целомудрии, – лишь бы только в красноречии был я прославлен, вернее, оставлен попечением Твоим, Господи, единственный, настоящий и добрый хозяин нивы Твоей, моего

сердца.

В шестнадцатилетнем возрасте своем, прервав по домашним обстоятельствам школьные занятия, жил я вместе с родителями на досуге, ничего не делая, и колючая чаша моих похотей разрослась выше головы моей; не было руки выкорчевать ее. Наоборот, когда отец мой увидел в бане, что я мужаю, что я уже в одежде юношеской тревоги, он радостно сообщил об этом матери, словно уже мечтал о будущих внуках, радуясь опьянению, в котором этот мир забывает Тебя, Создателя своего, и вместо Тебя любит творение Твое, упиваясь невидимым вином извращенной, клонящейся вниз воли. В сердце матери моей, однако, Ты основал храм Свой и положил основание снятой обители Твоей; отец мой был только оглашенным, и то с недавних пор. Она же была вне себя от благочестивого волнения и страха: хотя я еще не был окрещен, но она боялась для меня кривых путей, по которым ходят те, кто поворачивается К Тебе спиной, а не лицом.

Горе мне! И я осмеливаюсь говорить, что Ты молчал, Господи, когда я уходил от Тебя! Разве так молчат?! Кому, как не Тебе принадлежали слова, которые через мою мать, верную служанку Твою, твердил Ты мне в уши? Ни одно из них не дошло до сердца моего, ни одного из них я не послушался. Мать моя хотела, чтобы я не распутничал, и особенно боялась связи с замужней женщиной, – я помню, с каким беспокойством уговаривала она меня наедине. Это казалось мне женскими уговорами; мне стыдно было их слушаться. А на самом деле они были Твоими, но я не знал этого и думал, что Ты молчишь, а говорит моя мать. Ты через нее обращался ко мне, и в ней презрел я Тебя, я, ее сын, «сын служанки Твоей, раб Твой». Я не знал этого, и стремглав катился вниз, ослепленный настолько, что мне стыдно было перед сверстниками своей малой порочности. Я слушал их хвастовство своими преступлениями; чем они были мерзее, тем больше они хвастались собой. Мне и распутничать нравилось не только из любви к распутству, но и из тщеславия. Не порок ли заслуживает порицания? А я, боясь порицания, становился порочнее, и если не было проступка, в котором мог бы я сравниваться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие.

Вот с какими товарищами разгуливал я по площадям «Вавилона» и валялся в его грязи, словно в кинамоне и драгоценных благоуханиях. И чтобы я крепче завяз в самой трясине его, втаптывал меня туда невидимый враг, не прекращая соблазнов своих. А меня легко было соблазнить. И та, которая уже «бежала из середины Вавилона» и медленно шла по окраинам его, моя мать по плоти, уговаривавшая меня соблюдать чистоту, не позаботилась, однако, обуздать супружеской привязанностью то, о чем услышала от мужа, если уж нельзя было вырезать это до живого мяса. А губительность этого в те дни и опасность в дальнейшем она понимала. Она не позаботилась о моей женитьбе из боязни, как бы брачные колодки не помешали осуществиться надеждам, – не тем надеждам на будущую жизнь, возлагаемым на Тебя матерью, – но надеждам на успехи в науках, изучить которые я должен был по горячему «желанию и отца, и матери:

отец хотел этого потому, что о Тебе у него почти не было мыслей, а обо мне были пустые; мать же считала, что эти занятия в будущем не только не принесут мне вреда, но до некоторой степени и помогут найти Тебя. Так я догадываюсь, раздумывая по мере сил над характером моих родителей. Мне даже предоставили в моих забавах большую свободу, чем это требовалось разумной строгостью, и я без удержу предался различным страстям, которые мглою своею закрывали от меня, Господи, сияние истины Твоей, и возросла, словно на тучной земле, неправда моя.

Воровство, конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора? И богач не терпит человека, принужденного к воровству нищетой. Я же захотел совершить воровство, и я совершил его, толкаемый не бедностью или голодом, а от отвращения к справедливости и от объядения грехом. Я украл то, что у меня имелось в изобилии и притом было гораздо лучше: я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом.

По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь; по губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе (если даже кое-что и съели); и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запрещен. Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над которым Ты сжался, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет Тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым безо всякой цели. Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок.

Когда спрашивают, по какой причине совершено преступление, то обычно она представляется вероятной только в том случае, если можно обнаружить или стремление достичь какое-либо из тех благ, которые мы назвали низшими, или же страх перед их потерей. Они прекрасны и почетны, хотя по сравнению с высшими, счастливыми человека, презренны и низменны. Он убил человека. Почему? Он влюбился в его жену или ему понравилось его имение; он хотел его ограбить, чтобы на это жить; он боялся, что тот нанесет ему крупные потери; он был обижен и горел желанием отомстить. Разве совершил бы человек убийство без причины, из наслаждения самим убийством? Кто этому поверит? Даже для того жестокого безумца, о котором сказано, что он был зол и жесток просто так себе, без всяких оснований, приведена причина: «Рука и душа не должны становиться вялыми от бездействия» В чем дело? Почему? Чтобы, совершая преступление за преступлением, получить по взятии города почести, власть, богатство; чтобы не бояться законов и не жить в затруднительных

обстоятельствах, нуждаясь и сознавая свои преступления.

Что же было мне, несчастному, мило в тебе, воровство мое, ночное преступление мое, совершенное в шестнадцатилетнем возрасте? То не было прекрасно, будучи воровством; представляешь ли ты вообще нечто, о чем стоило бы говорить с Тобой? Прекрасны были те плоды, которые мы укралы, потому что они были Твоим созданием, прекраснейший из всех, Творец всего, благий Господи, Ты, высшее благо и истинное благо мое; прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. У меня в изобилии были лучшие: я сорвал их только затем, чтобы украсть. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой радостно насладился. Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление, Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве? В нем нет никакой привлекательности, не говоря уже о той, какая есть в справедливости и благоразумии, какая есть в человеческом разуме, в памяти, чувствах и полной сил жизни; нет красоты звезд, украшающих места свои; красоты земли и моря, полных созданиями, сменяющими друг друга в рождении и смерти; в нем нет даже той ущербной и мнимой привлекательности, которая есть в обольщающем пороке.

Итак, что же было мне мило в том воровстве? И в чем искаженно и извращенно уподоблялся я Господу моему? Или мне было приятно хотя бы обмануть закон, раз уж я не мог сокрушить его в открытую, и я, как пленник, создавал себе кущее подобие свободы, безнаказанно занимаясь тем, что было запрещено, теша себя тенью и подобием всемогущества? Вот раб, убегающий от господина своего и настигший тень. О тлен, о ужас жизни, о глубина смерти! Может ли быть любезно то, что запретно, и только потому, что оно запретно?

Что извлек я, несчастный, из того, вспоминая о чем, я сейчас краснею, особенно из того воровства, в котором мне было мило само воровство и ничто другое? Да и само по себе оно было ничто, а я от этого самого был еще более жалок. И однако, насколько я помню мое тогдашнее состояние духа, я один не совершил бы его; один я никак не совершил бы его. Следовательно, я любил здесь еще сообщество тех, с кем воровал. Я любил, следовательно, кроме воровства еще нечто, но и это нечто было ничем. Что же на самом деле? Кто научит меня, кроме Того, Кто просвещает сердце мое и рассеивает тени его? Зачем приходит мне в голову спрашивать, обсуждать и раздумывать? Ведь если бы мне нравились те плоды, которые я украл, и мне хотелось бы ими наесться, если бы мне достаточно было совершить это беззаконие ради собственного наслаждения, то я мог бы действовать один. Нечего было разжигать зуд собственного желания, расчесывая его о соучастников. Наслаждение, однако, было для меня не в тех плодах; оно было в самом преступлении и создавалось сообществом вместе грешивших.

Что это было за состояние души? Конечно, оно было очень гнусно, и горе мне было, что я переживал его. Что же это, однако, было? «Кто понимает преступления?» Мы смеялись, словно от щекотки по сердцу, потому что

обманывали тех, кто и не подумал бы, что мы можем воровать, и горячо этому бы воспротивился. Почему же я наслаждался тем, что действовал не один? Потому ли, что наедине человек не легко смеется? Не легко, это верно, и однако, иногда смех овладевает людьми в полном одиночестве, когда никого другого нет, если им представится или вспомнится что-нибудь очень смешное. А я один не сделал бы этого, никак не сделал бы один. Вот, Господи, перед Тобой живо припоминаю я состояние свое. Один бы я не совершил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, а само воровство; одному воровать мне бы не понравилось, я бы не стал воровать. О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву! Стремление к чужому убыtkу без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят: «пойдем, сделаем», и стыдно не быть бесстыдным.

Кто разберется в этих запутанных извивах? Они гадки: я не хочу останавливаться на них, не хочу их видеть. Я хочу Тебя, Справедливость и Невинность, прекрасная честным Светом Своим, насыщающая без пресыщения. У Тебя великий покой и жизнь безмятежная. Кто входит в Тебя, входит в «радость господина своего» и не убоится, и будет жить счастливо в полноте блага. Я в юности отпал от Тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты.

## Книга третья

Я прибыл в Карфаген; кругом меня котлом кипела позорная любовь. Я еще не любил и любил любить и втайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. Я искал, что бы мне полюбить, любя любовь: я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек. Внутри у меня был голод по внутренней пище, по Тебе Самом, Боже мой, но не этим голодом я томился, у меня не было желания нетленной пищи не потому, что я был сыт ею: чем больше я голодал, тем больше ею брезгал.

Поэтому не было здоровья в душе моей: вся в язвах, бросилась она во внешнее, жадно стремясь почесаться, жалкая, о существа чувственные. Но если бы в них не было души, их, конечно, нельзя было бы полюбить.

Любить и быть любимым мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мutil источник дружбы грязью похоти; я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаваться, Боже мой милостивый, какой желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры.

Меня увлекали театральные зрелища, они были полны изображениями моих несчастий и служили разжигой моему огню. Почему человек хочет печалиться

при виде горестных и трагических событий, испытать которые он сам отнюдь не желает? И тем не менее он, как зритель, хочет испытывать печаль, и сама эта печаль для него наслаждение. Удивительное безумие! Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам застрахован от подобных переживаний, но когда он мучится сам за себя, это называется обычно страданием; когда мучится вместе с другими – состраданием. Но как можно сострадать вымыслам на сцене? Слушателя ведь не зовут на помощь; его приглашают только печалиться, и он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится. И если старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печали, то он уходит, зевая и бранясь; если же его заставили печалиться, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется.

И теперь я доступен состраданию, но тогда, в театре, я радовался вместе с влюбленными, когда они наслаждались в позоре, хотя все это было только вымыслом и театральной игрой. Когда же они теряли друг друга, я огорчался вместе с ними, как бы сострадая им, и в обоих случаях наслаждался, однако. Теперь я больше жалею человека, радующегося на позор себе, чем того, кто вообразил, что жестоко страдает, лишившись губительного наслаждения и утратив жалкое счастье. Это, конечно, настоящее сострадание, но при нем печаль не доставляет удовольствия. Хотя человека, опечаленного чужим несчастьем, одобряют за эту службу любви, но, по-настоящему милосердный, он предпочел бы не иметь причины для своей печали.

Но я тогда, несчастный, любил печалиться и искал поводов для печали: игра актера, изображавшего на подмостках чужое, вымышленное горе, больше мне нравилась и сильнее меня захватывала, если вызывала слезы. Что же удивительного, если я, несчастная овца, отбившаяся от Твоего стада, не терпевшая охраны Твоей, опаршивел мерзкой паршой? Потому-то и была мила мне печаль, – не та, которая проникает до глубины души: мне ведь не нравилось терпеть то, на что я любил смотреть – рассказ о вымышленных страданиях как бы скреб мою кожу, и как от расчесывания ногтями, начиналось воспаление и отвратительная гнойная опухоль. Такова была жизнь моя, Господи: жизнью ли была она?

И надо мною, окружая меня, витало далекое и верное милосердие Твое. Гноем какой неправды не был я покрыт! Кощунственным было любопытство мое: покинул я Тебя и дошел до бездны неверности, до обманчивого угождения демонам, в жертву которым приносил злые дела свои. И за каждое из них бичевал Ты меня!

Я осмелился даже во время совершения службы Твоей в церковных стенах гореть желанием и улаживать дело, верным доходом, с которого была смерть: за это поразил Ты меня тяжел наказанием, но оно было ничем сравнительно с виной моей. О ты, великий в милосердии своем, Господь мой, прибежище мое от грозных опасностей, среди которых бродил я, в гордой самоуверенности далеко уходя от Тебя; я любил пути свои, а не Твои, любил свободу, свободу беглого раба.

Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными: я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем искуснее я лгал. Такова слепота человеческая: слепотою своею люди хвалятся. Я был первым в риторской школе: был полон горделивой радости и дут спесью. Вел я себя, правда, гораздо спокойнее, Господи, Ты знаешь это, и вообще не принимал никакого участия в «опрокидываниях», которыми занимались «совратители» (это зловещее дьявольское имя служило как бы признаком утонченности). Я жил среди них, постыдно стыдясь, что сам не был таким, я бывал с ними, иногда мне было приятно с ними дружить, но поступки их всегда были мне отвратительны. Это было дерзкое преследование честных новичков, которых они сбивали с прямого пути, так себе, забавы ради, в насыщение своей злобной радости. Нет деяния, больше уподобляющегося действиям дьявольским. Нельзя было назвать их вернее, чем «совратителями». Сначала они были сами, конечно, совращены и развернуты, соблазняемые втайне и осмеянные лживыми духами в самой любви своей к осмеянию и лжи.

Живя в такой среде, я в тогдашнем моем неустойчивом возрасте изучал книги по красноречию, желая в целях предосудительных и легкомысленных, на радость человеческому тщеславию стать выдающимся оратором. Следуя установление порядку обучения, я дошел до книжки какого-то Цицерона, языку которого удивляются все, а сердцу не так. Книга эта увещевает обратиться к философии и называется «Гортензий». Эта вот книга изменила состояние мое, изменила молитвы мои и обратила их к Тебе, Господи, сделала другими прошения и желания мои. Мне вдруг опротивели все пустые надежды; бессмертной мудрости желал я в своем невероятном сердечном смятении и начал вставать, чтобы вернуться к Тебе. Не для того, чтобы отточить свой язык (за это, по-видимому, платил я материнскими деньгами в своем девятнадцатилетнем возрасте; отец мой умер за два года до этого), не для того, чтобы отточить язык взялся я за эту книгу: она учила меня не тому, как говорить, а тому, что говорить.

Как горел я, Господи, как горел я улететь к Тебе от всего земного. Я не понимал, что Ты делаешь со мною. «У Тебя ведь мудрость». Любовь к мудрости по-гречески называется философией; эту любовь зажгло во мне это сочинение.

В то время, Ты знаешь это, Свет моего сердца, мне не были еще известны эти слова апостола, и тем не менее я наслаждался этой книгой потому, что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самое мудрство, какова бы она ни была; поощряла любить ее, искать, добиваться, овладеть ею и крепко прильнуть к ней. Эта речь зажгла меня, я весь горел, и мой пыл ослабляло только одно: там не было имени Христа, а это имя по милосердию Твоему, Господи, это имя Спасителя моего, Твоего Сына, впитал я с молоком матери: оно глубоко запало в мое детское сердце, и все произведения, где этого имени не было, пусть художественные, отделанные и полные истины, не захватывали меня целиком.

Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что

это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темное: здание, окутанное тайной, с низким входом; оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявши за Писание: оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронова стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой; мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель, но я презирал ребяческое состояние, и надутый спесью, казался себе взрослым.

Так и попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых. Речи их были сетями дьявольскими, птичьим kleem, состряпанным из смеси слогов, составляющих имена: Твое, Господа Иисуса Христа и Параклeta, Утешителя нашего, Духа Святого. Эти имена не сходили у них с языка, оставаясь только словесным звоном и шумом: истина не жила у них в сердце. Они твердили: «истина, истина» и много твердили мне о ней, но ее нигде у них не было. Они должно учили не только о Тебе, который есть воистину Истина, но и об элементах мира, созданного Тобой; а мне следовало бы забросить даже тех философов, которые говорят об этом правильно, из любви к Тебе, Отец мой, высшее благо, краса всего прекрасного.

О Истина, Истина! из самой глубины души своей, уже тогда я вздыхал по Тебе, и они постоянно звонили мне о Тебе, на разные лады, в словах, остававшихся только словами, и в грудах толстых книг! Это были блюда, в которых мне, алчущему Тебя, подносили вместо Тебя солнце и луну, прекрасные создания Твои, но только создания Твои, не Тебя Самого, и даже не первые создания Твои, – первенство принадлежит духовным созданиям Твоим, а не этим телесным, хотя они и светлы и находятся на небе.

Я алкал и жаждал, однако, и не их, первенствующих, а Тебя Самого, Истина, в которой «нет изменения, и ни тени перемены».

Где же был Ты тогда для меня и далеко ли? Я скитался вдали от Тебя, и меня отогнали даже от стручков, которыми я кормил свиней. Горе, горе, по каким ступеням свели меня в бездну адovу, потому что, томясь по истине и не находя без нее покоя, я искал Тебя, Боже мой (Тебе исповедываюсь, сжалившемуся надо мной еще тогда, когда я и не думал исповедываться), я искал Тебя, руководствуясь не разумом, которым Ты захотел отличить меня от зверей, а руководствуясь телесными чувствами. Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих. Я натолкнулся на ту дерзкую и безрассудную женщину из Соломоновой загадки, которая сидела в дверях на кресле и говорила: «спокойно ешьте утаенный хлеб и пейте краденую вкусную воду». Она соблазнила меня, видя, что я живу во вне, завися от своего плотского зрения, и пережевываю пищу, которую она давала мне глотать.

Я не знал другого – того, что есть воистину, и меня словно толкало считать остроумием поддакивание глупым обманщикам, когда они спрашивали меня,

откуда зло, ограничен ли Бог телесной формой и есть ли у Него волосы и ногти, можно ли считать праведными тех, которые имели одновременно по нескольку жен, убивали людей и приносили в жертву животных. В своем невежестве я приходил от таких вопросов в замешательство и, уходя от истины, воображал, что иду прямо к ней. Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Что мог я тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть Дух, у Которого нет членов, простирающихся в длину и в ширину, и нет величины: всякая величина в части своей меньше себя, целой, а если она бесконечна, то в некоторой части своей, ограниченной определенным пространством, она меньше бесконечности и не является всюду целой, как Дух, как Бог. А что в нас есть, что делает нас подобными Богу, и почему в Писании про нас верно сказано: «по образу Божию», это было мне совершенно неизвестно.

И я не знал настоящей внутренней правды, которая судит не по обычая, а по справедливейшему закону всемогущего Бога, определившему для отдельных стран и времен нравы и обычай, соответствующие этим временам и странам, хотя сама она всегда во всяком месте и во всякое время одна и та же. По ней праведны и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Моисей, и Давид, и все те, кого восхвалили уста Господни. Неправедны они по суду людей непонимающих, суждших от сегодняшнего дня и меряющих нравственность всего человечества мерилом собственной нравственности.

Правды этого я тогда не понимал и не обращал на нее внимания; она со всех сторон бросалась мне в глаза, а я ее и не видел. Я декламировал стихи, и мне не позволялось ставить любую стопу где угодно: в разных размерах это было по-разному и в любом стихе для каждой стопы было свое место. Метрика, учившая меня стихосложению, содержала все эти правила одновременно и не была в одном случае одной, а в другом другой. А я не постигал, что добрые и святые патриархи служили правде, включавшей в степени гораздо большей и более возвышенной одновременно все заповеди; ничуть не меняясь, она только заповедует разным временам не все свои заповеди сразу, а каждому то, что ему соответствует. И я, слепой, осуждал благочестивых патриархов, которые, по велению и внушению Божию, пользовались законами своего времени и возвещали, по откровению Божию, будущее.

Есть много поступков, на которые люди смотрят неодобрительно и которые одобрены свидетельством Твоим; много таких, которые люди хвалят и которые осуждены по свидетельству Твоему. Разными бывают и видимость поступка, и чувства совершившего, и тайное сцепление обстоятельств.

Когда же Ты вдруг даешь заповедь, непривычную и неожиданную, повелевающую делать даже то, что некогда Тобой запрещалось, и временно держишь в тайне причину Твоего повеления, хотя оно противоречит установлениям данного людского общества, – кто усомнится, что его должно выполнить, ибо только то человеческое общество, которое служит Тебе,

праведно? Блаженны те, которые знают, что эти повеления отданы Тобой. Ибо все делается Твоими служителями, дабы показать, что нужно в данный час и что в предвозвестие будущего.

Не зная этого, я смеялся над этими святыми слугами и пророками Твоими. К чему привел этот смех? Только к тому, что Ты насмеялся надо мной: постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры, например, в то, что винная ягода, когда ее срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то «святой» съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вздыхая и рыгая, ангелов, или, вернее, частички Божества: эти частички истинного и вышнего Божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы «святые избранники» не освободили их зубами и кишками.

И я, жалкий, верил, что надо быть жалостливее к земным плодам, чем к людям, для которых они растут. И если бы голодный – не манихей – попросил есть, то, пожалуй, за каждый кусок стоило бы наказывать смертной казнью.

И Ты простер руку Твою с высоты и «извлек душу мою» из этого глубокого мрака, когда мать моя, верная твоя служанка, оплакивала меня перед Тобою больше, чем оплакивают матери умерших детей. Она видела мою смерть в силу своей веры и того духа, которым обладала от Тебя, – и Ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее и не презрел слез, потоками орошивших землю в каждом месте, где она молилась; Ты услышал ее. Откуда, в самом деле, был тот сон, которым Ты утешил ее настолько, что она согласилась жить со мною в одном доме и сидеть за одним столом? В этом ведь было мне отказано из отвращения и ненависти к моему кощунственному заблуждению. Ей приснилось, что она стоит на какой-то деревянной доске и к ней подходит сияющий юноша, весело ей улыбаясь; она же в печали и сокрушена печалью. Он спрашивает ее о причинах ее горести и ежедневных слез, причем с таким видом, будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. Она отвечает, что скорбит над моей гибелью; он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть: она увидит, что я буду там же, где и она. Она посмотрела и увидела, что я стою рядом с нею на той же самой доске.

Откуда этот сон? Разве Ты не преклонил слуха Своего к сердцу ее? О Ты, благий и всемогущий. Который заботишься о каждом из нас так, словно он является единственным предметом Твоей заботы, и обо всех так, как о каждом!

Почему, когда она рассказала мне это видение, и я попытался притянуть свое объяснение: скорее ей нечего отчаиваться в том, что она будет там же, где был я, она ответила сразу же безо всякого колебания: «Нет, мне ведь не было сказано: «Где он, там и ты», а «Где ты, там и он»?

Исповедуюсь Тебе, Господи: насколько я могу припомнить, – а я часто вспоминал и рассказывал об этом сне – этот ответ Твой через мою неусыпно заботливую мать; то, что она не смутилась моим лживым, но столь вероятным объяснением и сразу увидела то, что надо было увидеть, и чего я, разумеется, не

видел до ее слов, – все это потрясло меня даже больше, чем самый сон, в котором благочестивой женщине задолго вперед предсказана была будущая радость в утешение нынешней скорби Прошло еще десять лет, в течение которых я валялся в этой грязной бездне и во мраке лжи; часто пытался я встать и разбивался еще сильнее, а между тем, эта чистая вдова, благочестивая и скромная, такая, каких Ты любишь, ободренная надеждой, но неумолчной в своем плаче и стенаниях, продолжала в часы всех своих молитв горевать обо мне перед Тобой, Господи, «и пришли пред лицо Твоего молитвы ее», хотя Ты и допустил еще, чтобы меня кружило и закружило в этой мгле.

Ты дал тем временем и другой ответ, который я держу в памяти. Многое я пропускаю, потому что тороплюсь перейти к тому, что настоятельно требует исповеди перед Тобой, а многого я и не помню. Другой ответ свой дал Ты через Твоего священнослужителя, одного епископа, вскормленного Церковью и начитанного в книгах Твоих. Когда мать моя упрашивала его удостоить меня своей беседы, опровергнуть мои заблуждения, отучить от зла и научить добру (он поступал так с людьми, которых находил достойными), то он отказался, что было, насколько я сообразил впоследствии, конечно, разумно. Он ответил, что я заупрямлюсь, потому что ересь для меня внове, я горжусь ею и уже смутил многих неопытных людей некоторыми пустячными вопросами, как она сама ему рассказала. «Оставь его там и только молись за него Богу: он сам, читая, откроет, какое это заблуждение и какое великое нечестие». И он тут же рассказал, что его мать соблазнили манихеи, и она еще мальчиком отдала его им; что он не только прочел все их книги, но даже их переписывал, и что ему открылось, безо всяких обсуждений и уговоров, как надо бежать от этой секты; он и бежал.

Когда он рассказал об этом, мать моя все-таки не успокоилась и продолжала еще больше настаивать, моля и обливаясь слезами, чтобы он увиделся со мной и поговорил. Тогда он с некоторым раздражением и досадой сказал: «Ступай, как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет».

В разговорах со мной она часто вспоминала, что приняла эти споры так, как будто они прозвучали ей с неба.

## Книга четвертая

В течение этих девяти лет, от девятнадцатого до двадцать восьмого года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других, обманывался и обманывал разными увлечениями своими: открыто – обучением, которое зовется «свободным», втайне – тем, что носило обманное имя религии. Там была гордость, здесь суеверие, и всюду – пустота. Там я гнался за пустой известностью, за рукоплесканиями в театре на стихотворных состязаниях в борьбе ради венков из травы, там увлекался бессмысленными зрелищами и безудержным разгулом; тут, стремясь очиститься от этой грязи, подносил так называемым святым и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов для нашего освобождения. И я был ревностным

последователем всего этого и соответственно действовал с друзьями своими, совместно со мною и через меня обманутыми.

Пусть смеются надо мной гордецы, которых Ты еще не поверг ниц и не поразил ради спасения их, Боже мой: я все равно исповедую позор мой во славу Твою. Позволь мне, молю Тебя, дай покружить сейчас памятью по всем кружным дорогам заблуждения моего, исхоженный мною, и «принести Тебе жертву хвалы». Что я без Тебя, как не вожак себе в пропасть? Что я такое, когда мне хорошо, как не младенец, сосущий молоко Твое и питающийся «Тобой – пищей, пребывающей вовек»? И что такое человек, любой человек, раз он человек? Пусть же смеются над нами сильные и могущественные; мы же, нищие и убогие, да исповедуемся перед Тобой.

В эти годы я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал победоносную болтливость. Я предпочитал, Ты знаешь это, Господи, иметь хороших учеников, в том значении слова, в котором к ним прилагается «хороший», и бесхитростно учил их хитростям не затем, чтобы они губили невинного, но чтобы порой вызволяли виновного. Боже, Ты видел издали, что я едва держался на ногах на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой, во время учительства своего, обучал я любящих суету и ищущих обмана, я, сам их союзник и товарищ.

В эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным: я выселил ее в моих безрассудных любовных скитаниях. Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу. Тут я на собственном опыте мог убедиться, какая разница существует между спокойным брачным союзом, заключенным только ради деторождения, и страстной любовной связью, при которой даже дитя рождается против желания, хотя, родившись, и заставляет себя любить.

Вспоминаю еще, что однажды я решил выступить на состязании драматических поэтов. Какой-то гарусник поручил спросить меня, сколько я заплачу ему за победу, и я ответил, что это мерзкое колдовство мне ненавистно и отвратительно, и что если бы меня ожидал даже венец из нетленного золота, то я не позволю ради своей победы убить мууху. А он как раз и собирался убить и принести в жертву животных, рассчитывая, по-видимому, этими почестями склонить ко мне демонов. Я отверг это зло потому, что чтил святость Твою, Боже сердца моего. Я не умел ведь любить Тебя; только в телесной славе умел я представить Тебя. Душа, вздыхающая по таким выдумкам, разве «не распутничает вдали от Тебя»? Она верит лжи и «питает ветры». Я, конечно, не хотел, чтобы за меня приносили жертву демонам, которым я сам приносил себя в жертву своим суеверием. И что значит «питать ветры», как не питать этих духов, то есть свои заблуждениями услаждать их и быть им потехой?

Продолжал я советоваться и с этими проходимцами ( называют «математиками»), ссылаясь на то, что они не приносят никаких жертв и не обращаются ни к одному духу с молитвами о своих предсказаниях. Тем не менее христианское, настоящее благочестие отвергает и вполне

последовательно осуждает их деятельность.

Хорошо исповедоваться Тебе, Господи, и говорить: «Смилийся надо мною, излечи душу мою, потому что я согрешил перед Тобою», хорошо не злоупотреблять снисхождением Твоим, позволяя себе грешить, и помнить слово Господне: «Вот ты здоров, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Это спасительное наставление они ведь пытаются целиком уничтожить, говоря: «Небом суждено тебе неизбежно согрешить», или «Это сделали Венера или Сатурн, или Марс». Следовательно если на человеке, на этой плоти, крови, на гордой трухе, вины нет, то винить следует Творца и Устроителя неба и светил. А кто же это, как не Ты, Господь наш, сладостный исток справедливости, который «воздаешь каждому по делам его и сердца сокрушенного и смиренного не презираешь»

Жил в это время человек острого ума, очень опытный и известный в своем деле врач, который, в качестве проконсула, своею рукою возложил в том состязании венец победителя на мою больную голову; тут он врачом не оказался. В такой болезни целитель Ты, Который «противишься гордым и смиренным даешь благодать». И разве не Ты помог мне через этого старика? Разве Ты оставил лечить душу мою? Я ближе познакомился с ним и стал его прилежным и постоянным собеседником (речь его, оживленная мыслью, была безыскусственной, но приятной и важной). Узнав из разговора со мной, что я увлекаюсь книгами астрологов, он, с отеческой лаской, стал уговаривать меня бросить их и не тратить зря на эти пустяки трудов и забот, нужных для полезного дела. Он рассказал мне, что он настолько изучил эту науку, что в юности хотел сделать ее своим насущным занятием; раз он понял Гиппократа, то уж, конечно, смог понять и эти книги. Впоследствии, однако, он их бросил и занялся медициной единственно потому, что ясно увидел их совершенную лживость; человек порядочный, он не захотел зарабатывать свой хлеб обманом. «У тебя, — добавил он, — есть твоя риторика, которой ты можешь жить; этой же ложью ты занимаешься по доброй воле, а не по нужде, и должен верить мне тем более, что я постарался изучить ее в совершенстве, желая ее сделать единственным источником заработка». Я спросил у него, по какой же причине многие их предсказания оказываются верны, и он ответил, как мог, а именно, что это делается силой случая, всегда и всюду действующего в природе. Если человеку, который гадает по книге поэта, занятого только своей темой и ставящего себе свои цели, часто выпадает стих, изумительно соответствующий его делу, то можно ли удивляться, если человеческая душа, по какому-то побуждению свыше, не отдавая себе отчета в том, что с ней происходит, изречет вовсе не по науке, а чисто случайно то, что согласуется с делами и обстоятельствами вопрошающего.

И тут Ты позабочился обо мне, действуя в нем и через него. В памяти моей Ты оставил набросок того, что впоследствии я должен был искать уже сам. Тогда же ни он, ни мой дорогой Небридий, юноша и очень хороший и очень чистый, смеявшийся над предсказаниями такого рода, не могли убедить меня от них отказаться. На меня больше действовал авторитет авторов этих книг, и в своих

поисках я не нашел еще ни одного верного доказательства, которое недвусмысленно выявило бы, что верные ответы на заданные вопросы продиктованы судьбой или случайностью, а не наукой о наблюдении за звездами.

В эти годы, когда я только что начал преподавать в своем родном городе, я завел себе друга, которого общность наших вкусов делала мне очень дорогим. Был он мне ровесником и находился в том же цвету цветущей юности. Мальчиками мы росли вместе; вместе ходили в школу и вместе играли. Тогда мы еще не были так дружны; хотя и впоследствии тут не было истинной дружбы, потому что истинной она бывает только в том случае, если Ты скрепляешь ее между людьми, привязавшимися друг к другу «любовью, излившейся в сердца наши Духом Святым, Который дан нам». Тем не менее, созревшая в горячем увлечении одним и тем же, была она мне чрезвычайно сладостна. Я уклонил его от истинной веры, – у него, юноши, она не была глубокой и настоящей, – к тем гибельным и суеверным сказкам, которые заставляли мать мою плакать надо мною. Вместе с моей заблудилась и его душа, а моя не могла уже обходиться без него.

И вот Ты, по пятам настигающих тех, кто бежит от Тебя, Бог отмщения и источник милосердия, обращающий нас к себе дивными способами, вот Ты взял его из этой жизни, когда едва исполнился год нашей дружбе, бывшей для меня сладостнее всего, что было сладостного в тогдашней моей жизни.

Может ли один человек «исчислить хвалы Твои» за благодеяния Твои ему одному? Что сделал Ты тогда, Боже мой? Как неисследима «бездна судеб Твоих». Страдая лихорадкой, он долго лежал без памяти, в смертном поту. Так как в его выздоровлении отчаялись, то его окрестили в бессознательном состоянии. Я не обратил на это внимания, рассчитывая, что в душе его скорее удержится то, что он узнал от меня, чем то, что делали с его бессознательным телом. Случилось, однако, совсем по-иному. Он поправился и выздоровел, и как только я смог говорить с ним (а смог я сейчас же, как смог и он, потому что я не отходил от него, и мы не могли оторваться друг от друга), я начал было насмехаться над крещением, которое он принял вовсе без сознания и без памяти. Он уже знал, что он его принял. Я рассчитывал, что и он посмеется вместе со мной, но он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага, и с удивительной и внезапной независимостью сказал мне, что если я хочу быть ему другом, то не должен никогда говорить ему таких слов. Я, пораженный и смущенный, решил отложить свой натиск до тех пор, пока он оправится и сможет, вполне выздоровев, разговаривать со мной о чем угодно. Но через несколько дней, в мое отсутствие, он опять заболел лихорадкой и умер, отнятый у меня, безумного, чтобы жить у Тебя на утешение мне.

Какою печалью омрачилось сердце мое! Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом – обителью беспросветного горя; все, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел все,

потому что нигде его нет, и никто уже не мог мне сказать: «Вот он придет», как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня, и не знала она, что ответить мне. И если я говорил «надейся на Бога», она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей ведено было надеяться. Только плач был мне сладosten, и он наследовал другу моему в усладе души моей.

Теперь, Господи, это уже прошло, и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от Тебя, Который есть Истина, можно ли преклонить ухо моего сердца к устам Твоим и узнать от Тебя, почему плач сладок несчастным? Разве Ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от себя наше несчастье? Ты пребываешь в Себе; мы кружимся в житейских испытаниях. И, однако, если бы плач наш не доходил до ушей Твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей. Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенания и плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны Тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до Тебя. Но в печали об утре и в той скорби, которая окутывала меня? Я ведь не надеялся, что он оживет, и не этого просил своими слезами; я только горевал и плакал, потерян я был и несчастен: потерял я радость свою. Или плач, горестный сам по себе, услаждает нас, пресытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались и что теперь внушиает нам отвращение?

Зачем, однако, я говорю это? Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться Тебе. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно: она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей.

Таково было состояние мое в то время; я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его. И я не знаю, захотел ли бы я умереть даже за него, как это рассказывают про Ореста и Пилада, если это только не выдумка, что они хотели умереть вместе один за другого, потому что хуже смерти была для них жизни врозь. Во мне же родилось какое-то чувство совершенно этому противоположное; было у меня и жестокое отвращение к жизни и страх перед смертью. Я думаю, что чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага, ее. отнявшую его у меня. Вдруг, думал я, поглотит она и всех людей: могла же она унести его.

В таком состоянии, помню, находился я. Вот сердце мое, Боже мой, вот оно – взгляни во внутрь его, таким я его вспоминаю. Надежда моя, Ты, Который очищаешь меня от нечистоты таких привязанностей, устремляя глаза мои к Тебе и «освобождая от силков ноги мои». Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мертв: и еще больше удивлялся, что я, его второе «я», живу, когда он умер.

Хорошо сказал кто-то о своем друге: «половина души моей». И я чувствовал, что моя душа и его душа были одной душой в двух телах, и жизнь внушала мне ужас: не хотел я ведь жить половинной жизнью. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот, которого я так любил.

О, безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку! О, глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда: я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве, не было у меня ни покоя, ни рассуждения. Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей невтерпеж было со мной, а я не находил места, куда ее пристроить. Роши с их прелестью, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием; пышные пиры, ложе нег, самые книги и стихи – ничто не давало ей покоя. Все внушало ужас, даже дневной свет; все, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдохнула душа моя, но когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К Тебе, Господи, надо было вознести ее и у Тебя лечить. Я знал это, но и не хотел и не мог, тем более, что я не думал о Тебе, как о чем-то прочном и верном. Не Ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим богом. И если я пытался пристроить ее тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте и опять обрушивалась на меня, и я оставался с собой: злосчастное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти. Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой?

И все-таки я убежал из родного города. Меньше искали его глаза мои там, где не привыкли видеть, и я переехал из Тагасты в Карфаген.

Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства: оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим; приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний; постепенно лечили старыми удовольствиями, и печаль моя стала уступать им; стали, однако, наступать – не другие печали, правда, но причины для других печалей. Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое не потому, что я вылил душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти?

А меня как раз больше всего утешали и возвращали к жизни новые друзья, делившие со мной любовь к тому, что я любил вместо Тебя: нескончаемую сказку, сплошной обман, своим нечистым прикосновением развращавший наши умы, зудевшие желанием слушать. И если бы умер кто-нибудь из моих друзей, эта сказка не умерла бы для меня.

Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении: общая беседа и веселье, взаимная благожелательная служливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение; порою дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой, – самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное, – взаимное обучение, когда один учит другого и в свою очередь у него учится; тоскливо ожидание отсутствующих; радостная встреча прибывших. Все такие

проявления любящих и любимых сердец, в лице, в словах, в глазах и тысяче милых выражений, как на огне сплавляют между собою души, образуя из многих одну.

Вот что мы любим в друзьях и любим так, что человек чувствует себя виноватым, если он не отвечает любовью на любовь. От друга требуют только выражения благожелательности. Отсюда эта печаль по случаю смерти; мрак скорби; сердце, упоенное горечью, в которую обратилась сладость; смерть живых, потому что утратили жизнь умершие.

Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради Тебя врага. Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в Том, Кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш. Бог, Который «создал небо и землю» и «наполняет их», ибо, наполняя, Он и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто Тебя оставляет, а кто оставил, – куда пойдет и куда убежит? Только от Тебя, милостивого, к Тебе, гневному. Где не найдет он в каре, его достигшей, Твоего закона? А «закон Твой – истина», и «истина – это Ты».

Размышляя, я увидел, что каждое тело представляет собой как бы нечто целое и потому прекрасное, но в то же время оно приятно и тем, что находится в согласовании с другим. Так отдельный член согласуется со всем телом, обувь подходит к ноге и т. п. Эти соображения хлынули из самых глубин моего сердца, и я написал работу «О прекрасном и соответствующем», кажется, в двух или трех книгах. Тебе это известно, Господи: у меня же выпало из памяти. Самих книг у меня нет; они затерялись, не знаю, каким образом.

Что побудило меня, Господи, Боже мои, посвятить эти книги Гиерию, римскому оратору, которого я не знал лично, но которым восхищался за его громкую славу ученого. Мне сообщили некоторые его изречения, и они мне нравились. Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим, и его превозносили похвалами, недоумевая, как сириец, умевший сначала прекрасно говорить по-гречески, стал впоследствии мастером латинской речи и выдающимся знатоком во всех вопросах, касающихся философии.

Он принадлежал к тому типу ораторов, который мне так нравился, что мне самому хотелось быть одним из них. Я заблуждался в гордости своей, «был носим всяким ветром», и совершенно скрыто от меня было руководство Твое. И откуда мне знать и как с уверенностью исповедать Тебе, что я больше любил его за любовь и похвалы, чем за те занятия, за которые его хвалили? Если бы те же самые люди не хвалили, а брали его и рассказывали о нем то же самое, но с бранью и презрением, я не воспламенился бы любовью к нему, хотя ни занятия его, ни он сам не стали бы другим: другими были бы только чувства рассказчиков.

Вот куда брошена немощная душа, не прилепившаяся еще к крепкой истине. Ее несет и кружит, бросает туда и сюда, смотря по тому, куда дует вихрь слов и мнений. Они заслоняют ей свет, и она не видит истины. Она же вот – перед нами.

Для меня тогда было очень важно, чтобы моя книга и мои труды стали известны этому человеку. Его одобрение заставило бы меня загореться еще большим усердием; его неодобрение ранило бы мое суетное, не имевшее в Тебе опоры сердце. И, однако, я с любовью охотно переворачивал перед своим умственным взором вопрос о прекрасном и соответственном, о чем писал ему, и приходил в восторг от своей работы, не нуждаясь ни в чьих похвалах.

Я не видел, однако, стержня в великом деле, в искусстве Твоем, Всемогущий, «Который один творишь чудеса». Душа моя странствовала среди телесных образов: «прекрасное», являющееся таковым само по себе, и «соответственное», хорошо согласующееся с другим предметом, я определял и различал, пользуясь доказательствами и примерами из мира физического.

Потом я обратился к природе души, но ложные понятия, бывшие у меня о мире духовном, мешали мне видеть истину. Во всей силе своей стояла истина у меня перед глазами, а я отвращал свой издерганный ум от бестелесного к линиям, краскам и крупным величинам. И так как я не мог увидеть это в душе, я думал, что не могу видеть и свою душу. Я любил согласие, порождаемое добродетелью, и ненавидел раздор, порождаемый порочностью. В первой я увидел единство, во второй – разделенность. Это единство представлялось мне как совместность разума, истины и высшего блага; разделенность – как некая неразумная жизнь и высшее зло. Я, несчастный, считал, что оно не только субстанция, но что это вообще некая жизнь, только не от Тебя исходящая, Господи, от Которого все. Единство я назвал монадой, как некий разум, не имеющий пола, а разделенность – диадой: это гнев в преступлениях и похоть в пороках. Сам я не понимал, что говорю. Я не знал и не усвоил себе, что зло вовсе не есть субстанция, и что наш разум не представляет собой высшего и неизменного блага.

Мне было, пожалуй, лет двадцать шесть, двадцать семь, когда я закончил эти свитки, развертывая перед собой свои выдумки – эти материальные образы, оглушавшие уши моего сердца. Я настораживал их, сладостная Истина, чтобы услышать мелодию Твою, звучавшую глубоко внутри меня. Я думал о «прекрасном и соответственном», хотел встать на ноги и услышать Тебя, «радостью обрадоваться, слыша голос жениха» и не мог: мое заблуждение громко звало меня и увлекало наружу; под тяжестью гордости своей падал я вниз. «Ты не давал слуху моему радости и веселия», и не «ликовали кости мои», потому что «не были сокрушены».

И какая польза для меня была в том, что лет двадцати от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием «Десять категорий» (карфагенский ритор, мой учитель, и другие люди, считавшиеся учеными, раздуваясь от гордости, трещали о нем, и, слыша это название, я только и мечтал об этой книге, как о чем-то великом и божественном), я оказался единственным, прочитавшим и понявшим ее? Когда я беседовал по поводу этих категорий с людьми, которые говорили, что они с трудом их поняли и то лишь с помощью ученых наставников, объяснявших их не только словесно, но и с

помощью многочисленных рисунков на песке, то оказалось, что они могут сказать мне о них только то, что я, при своем одиноком чтении, узнал у себя самого. По-моему, книга эта совершенно ясно толковала о субстанциях и их признаках: например, человек – это качество; сколько в нем футов роста – это количество; его отношение к другим: например, чей он брат; место, где он находится; время, когда родился; его положение: стоит или сидит; что имеет: обувь или вооружение; что делает или что терпит. Под эти десять категорий, для которых я привел примеры, и под самую категорию субстанции подойдет бесконечное число явлений.

Какая была мне от этого польза? А вред был. Считая, что вообще все существующее охвачено этими десятью категориями, я пытался и Тебя, Господи, дивно простого и не подверженного перемене, рассматривать как субъект Твоего величия или красоты, как будто они были сопряжены с Тобой, как с субъектом, т.е. как с телом, тогда как Твое величие и Твоя красота это Ты сам. Тело же не является великим или прекрасным потому, что оно тело: меньшее или менее красивое, оно все равно остается телом.

Ложью были мои мысли и о Тебе, а не истиной: жалкий вымысел мой, не блаженная крепость Твоя. Ибо Ты повелел, и так и стало со мной: земля «начала рожать мне терния и волчцы», и с трудом получал я хлеб свой.

## Книга пятая

Прими исповедь мою, приносимую в жертву Тебе языком моим, который Ты создал и побудил исповедовать имя Твое; выздоровели все кости мои: пусть же они скажут: «Господи! Кто подобен Тебе?». Ничего нового не сообщает Тебе человек, исповедуясь в том, что происходит с ним, ибо не закрыто взору Твоему закрытое сердце, и не отталкивает человеческая жесткость десницу Твою: Ты смягчаешь ее, когда захочешь, милосердя или отмщая: «и нет никого, кто укрылся бы от жара Твоего». Да хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя. Неумолчно хвалят Тебя все создания Твои: всякая душа, обратившаяся к Тебе, своими устами; животные и неодушевленная природа устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в Тебе душа наша от усталости: опираясь на творения Твои, пусть дойдет к Тебе, дивно их сотворившему: у Тебя обновление и подлинная сила.

Я расскажу пред очами Господа моего о том годе, когда мне исполнилось двадцать девять лет.

В Карфаген приехал некий манихейский епископ по имени Фавст. Это была страшная сеть дьявольская, и многие запутывались в ней, прельщеные его сладкоречием, которое и я хвалил, различая, однако, между ним и истинной сущностью вещей, познать которую так жадно стремился. Я вглядывался не в словесный сосуд, а в то, какое знание предлагает мне отведать из него этот, столь известный у них, Фавст. Молва уже заранее сообщала мне, что он весьма осведомлен о всех высоких учениях и особенно сведущ в науках свободных.

Так как я прочел много философских книг и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые из положений с бесконечными манихейскими баснями: мне казались более вероятными слова тех, «у кого хватило разумения исследовать временный мир», хотя «не обрели они Господа его». Ибо «высок Ты, Господи, и смиренного видишь и гордого узнаешь издали», но приближаешься только «к сокрушенным сердцем», гордыне не находят Тебя, хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они заезды и песчинки, измерили звездные просторы и исследовали пути светил.

Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые Ты им дал: многое нашли они и предсказали за много лет вперед солнечные и лунные затмения, их день, их час и каковы они будут. Вычисления не обманули их: все происходит так, как они предсказали. Они записали законы, ими открытые; их и сегодня знают и по ним предсказывают, в каком году, в каком месяце этого года, в какой день этого месяца и в какой час этого дня луна или солнце затемнится в такой-то своей части. Все и произойдет так, как предсказано.

Дивятся и поражаются люди, неосведомленные в этой науке; ликуют и кичатся осведомленные. В нечестивой гордости отходя от Тебя и удаляясь от Твоего света, они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем. Они благоговейно не разыскивают, откуда у них способности, с помощью которых они все это разыскивают. И даже найдя, что Ты создал их, они не вручают себя самих Тебе, чтобы Ты сохранил их, как создание Свое, и не закалывают Тебе в жертву то, что они сами из себя сделали: они не убивают для Тебя ни своих превозносящихся мыслей, как «птиц»; ни своего любопытства, как «рыб морских», – а оно заставляет их бродить по тайным «стезям пропасти», – ни своего распутства, как «полевых скотов», – дабы Ты, Господи, «огнь пожирающий», уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия.

Они не познали Пути, Слова Твоего, Которым Ты создал и то, что они вычисляют, и тех, кто вычисляет, и чувство, которым они различают предметы вычислений, и разум, с помощью которого вычисляют: «мудрость же Твоя неисчислимая». Сам же Единородный Сын Твой «сделался для нас мудростью, праведностью и освящением»; но Он считался одним из нас и платил подать кесарю.

Они не познали этого Пути, чтобы спуститься Им от себя к Нему и через Него к Нему подняться. Они не познали этого Пути; они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними – и вот рухнули они на землю, и «омрачилось безумное сердце их».

Почти девять лет, пока я в своих душевных скитаниях прислушивался к манихеям, напряженно ожидал я прибытия этого самого Фавста.

Когда он прибыл, я нашел в нем человека милого, с приятною речью; болтовня его о манихейских обычных теориях звучала гораздо сладостнее. Что, однако, в драгоценном кубке поднес к моим жаждущим устам этот изящнейший

виночерпий? Уши мои пресытились уже такими речами: они не казались мне лучшими потому, что были лучше произнесены; истинными потому, что были красноречивы; душа не казалась мудрой, потому что у оратора выражение лица подобающее, а выражения изысканны. Люди, обещавшие мне Фавста, не были хорошими судьями. Он казался им мудрецом только потому, что он услаждал их своей речью.

Я знал другую породу людей, которым сама истина кажется подозрительной, и они на ней не успокоятся, если ее преподнести в изящной и пространной речи. Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом: я верю, что это Ты наставил меня, ибо в этом была истина, а кроме Тебя нет другого учителя истины, где бы и откуда бы ни появился ее свет. Я выучил у Тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истиной потому, что они красноречивы, а нескладные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми потому, что они нескладны, и наоборот: безыскусственная речь не будет тем самым истинной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрое и глупое – это как пища, полезная или вредная, а слова, изысканные и простые, – это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту и другую пищу.

Жадность, с которой я столько времени ожидал этого человека, находила себе утешение в оживленном ходе его рассуждений и в той подобающей словесной одежде, в которую он с такой легкостью одевал свои мысли. Я наслаждался вместе со многими и расхваливал и превозносил его даже больше многих, но досадовал, что не могу в толпе слушателей предложить ему вопросы, меня тревожившие, и поделиться ими, обмениваясь мыслями в дружеской беседе. Когда же, наконец, случай представился, я вместе с моими друзьями завладел им в то время, когда такое взаимное обсуждение было вполне уместно, и предложил ему некоторые из вопросов, меня волновавших. Я прежде всего увидел человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом обычном объеме. А так как он прочел несколько речей Цицерона, очень мало книг Сенеки, кое-что из поэтов и тех манихеев, чьи произведения были написаны хорошо и по-латыни, и так как к этому прибавлялась еще ежедневная практика в болтовне, то все это и создавало его красноречие, которое от его ловкой находчивости и природного очарования становилось еще приятнее и соблазнительнее. Правильны ли воспоминания мои, Господи, Боже мой. Судья моей совести? Сердце мое и память моя открыты Тебе; Ты уже вел меня в глубокой тайне Промысла Твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их увидел и возненавидел.

После того, как ясна мне стала полная неосведомленность Фавста в тех науках, великим знатоком которых я почитал его, стал я отчаиваться в том, что он может объяснить и разрешить вопросы, меня волновавшие. Ничего в них не понимая, он все же мог обладать истиной веры, не будь он манихеем. Книги их полны нескончаемых басен о небе и звездах, о солнце и луне: я уже не рассчитывал на то, чего мне так хотелось, а именно что он сможет, сравнив их с вычислениями, вычитанными мною в других книгах, до тонкости объяснить мне, так ли все и обстоит, как об этом написано у манихеев, или хотя бы

показать, что их доказательства не уступают по силе другим. Когда я предложил ему рассмотреть и обсудить эти вопросы, он скромно не осмелился взвалить на себя такую ношу. Он знал, чего он не знает, и не стыдился в этом сознаться. Он не принадлежал к тем многочисленным болтунам, которых мне приходилось терпеть и которые, пытаясь меня учить, ничего не могли сказать. У Фавста «сердце не было право» по отношению к Тебе, но было очень осторожно по отношению к себе самому. Он не был вовсе неосведомлен в своей неосведомленности и не хотел, кинувшись очертя голову в спор, оказаться в тупике: и выйти некуда, и вернуться трудно. За это он понравился мне еще больше. Скромное признание прекраснее, чем знание, которое я хотел получить; он же во всех трудных и тонких вопросах, — я видел это, — вел себя неизменно скромно.

Рвение, с которым бросился я на писания Мани, охладело; еще больше отчаялся я в других учителях после того, как знаменитый Фавст оказался так невежествен во многих волновавших меня вопросах. Я продолжал свое знакомство с ним, потому что он страстно увлекался литературой, а я, тогда карфагенский ритор, преподавал ее юношам. Я читал с ним книги — или о которых он был наслышан и потому хотел прочесть их, или которые я считал подходящими для такого склада ума. Знакомство с этим человеком подрезало все мои старания продвинуться в этой секте; я, правда, не отошел от них совсем, но вел себя, как человек, который, не находя пока ничего лучшего, чем учение, в которое он когда-то вслепую ринулся, решил пока что это этим и довольствоваться в ожидании, не выясняется ли случайно что-то, на чем надо остановить свой выбор.

Таким образом, Фавст, для многих оказавшийся «силком смерти», начал, сам того не желая и о том не подозревая распутывать тот, в который я попался. Рука Твоя, Господи, в неисповедимости Промысла Твоего, не покидала души моей. Мать моя приносила Тебе в жертву за меня кровавые, из сердца денно и нощно лившиеся слезы, и Ты дивным образом поступил со мною. Ты, Господи, так поступил со мною, ибо «Господом утверждаются стопы человека, и Он благоволит к пути его». И кто подаст нам спасение, как не рука Твоя, обновляющая создание Твое?

Рука Твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим и лучше там преподавать то, что я преподавал в Карфагене. Я не премину исповедать Тебе, что побудило меня к этому переезду: глубина, в которой Ты скрываешься, и милосердие Твое, которое всегда тут с нами, достойны размышления и хвалы.

Я решил отправиться в Рим не потому, что друзья, убеждавшие меня, обещали мне больший заработка и более видное место, хотя и то и другое меня тогда привлекало; главной же и почти единственной причиной были рассказы о том, что учащаяся молодежь ведет себя в Риме спокойнее, что их сдерживает строгая и определенная дисциплина, и они не смеют дерзко и беспорядочно врываться в помещение к чужому учителю: доступ к нему в школу открыт вообще только с его разрешения. В Карфагене же, наоборот, среди учащихся царит

распущенность мерзкая, не знающая удержу. Они бесстыдно вламываются в школу и, словно обезумев, нарушают порядок, заведенный учителем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они тысячу обид, за которые следовало бы по закону наказывать, но обычай берет их под свое покровительство. Они тем более жалки, что совершают, как нечто дозволенное, поступки, которые никогда не будут дозволены по вечному закону Твоему; они считают себя в полной безнаказанности, но их наказывает слепота к собственному поведению; они потерпят несравненно худшее, чем то, что делают. Учась, я не хотел принадлежать к этой толпе; став учителем, вынужден был терпеть ее около себя. Поэтому мне и хотелось отправиться туда, где, по рассказам всех осведомленных людей, ничего подобного не было. На самом же деле, это «Ты, надежда моя и часть моя на земле живых», побудил меня, ради спасения души моей, переменить место на земле: в Карфагене Ты бичом меня стегал, чтобы вырвать оттуда; в Риме приманки расставлял, чтобы привлечь туда, – действовал через людей, любивших эту жизнь смерти; здесь они творили безумства, там сыпали пустыми обещаниями; чтобы направить шаги мои, Ты втайне пользовался их и моей развращенностью. Те, кто нарушал мой покой, были ослеплены мерзким бешенством; те, кто звал к другому, были мудры по-земному. И я, ненавидевший здесь подлинное страдание, стремился туда – к мнимому счастью.

Ты знал, Господи, почему я уехал из Карфагена и ехал в Рим, но не подал об этом никакого знака ни мне, ни матери моей, которая горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной, но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с приятелем, пока он не отплывает с поднявшимся ветром.

Я солгал матери – и такой матери! – и ускользнул от нее. И это Ты милосердно отпустил мне, сохранив меня, полного грязи и мерзости, от морских вод и приведя к воде благодати Твоей, омывшись которой, я осушил потоки материнских слез, которыми она ежедневно орошала пред Тобою землю, плача обо мне. Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил ее провести эту ночь в часовне св. Киприана, поблизости от нашего корабля. И в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась, молясь и плача. О чем просила она Тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы Ты не позволил мне отплыть? Ты же, в глубине советов Своих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда: да сделаешь из меня то, о чем она просила всегда. Подул ветер и наполнил паруса наши и скрыл от взглядов наших берег, где она утром, обезумев от боли, наполняла уши Твои жалобами и стонами, которые Ты презрел: Ты влек меня на голос моих страстей, чтобы покончить с этими страстями, а ее за ее плотскую тоску хлестала справедливая плеть боли. Она любила мое присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем многие матери, и не ведала, сколько радости готовишь Ты ей моим отсутствием. Она не ведала этого и поэтому плакала и вопила, и в этих муках сказывалось в ней наследие Евы: в стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. И, однако,

после обвинений меня в обмане и жестокости она опять обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной своей жизни; я же прибыл в Рим.

И вот настигла меня плетьью своей телесная болезнь; я уже шел в ад, унося с собою все грехи, которые совершил перед Тобою, перед самим собою и перед другими, – великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым «мы все умираем в Адаме». Ты ничего еще не отпустил мне во Христе, ибо он «не упразднил» еще на кресте своем «вражды», которая была у меня с Тобою за грехи мои. Мог ли упразднить ее этот распятый призрак, в которого я верил? Насколько мнимой казалась мне Его плотская смерть, настолько подлинной была смерть моей души и настолько подлинной была Его плотская смерть, настолько мнимой была жизнь моей души, не верившей в Его смерть.

Лихорадка моя становилась все тяжелее; я уходил и уходил в погибель. Куда ушел бы я, если бы отошел тогда? Конечно, по справедливому порядку Твоему, только в огонь и муки, достойные моих дел. А мать не знала этого, но молилась в отсутствие. Ты же, присутствуя везде, услышал ее там, где была она, и сжался надо мною там, где был я: телесное здоровье вернулось ко мне, еще большому кощунственным сердцем своим. Я ведь не захотел принять Твоего Крещения, даже в такой опасности; был я лучше мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня; об этом я вспоминал уже, исповедуясь Тебе. Я возрос на позор себе и, безумный, смеялся над Твоим врачеванием, но Ты не позволил мне, такому, умереть двойной смертью. Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась. Я не могу достаточно выразить, как она любила меня; она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем.

Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей. Где же были горячие, такие частые, непрерывные молитвы? Только у Тебя. Разве Ты, Господи милосердия, «презрел бы сердце сокрушенное и смиренное» чистой скромной вдовы, прилежно творившей милостыню, охотно служившей служителям Твоим, не пропускавшей ни одного дня, чтобы не принести жертву к Твоему алтарю; дважды в день, утром и вечером, неизменно приходившей в церковь Твою не для пустых сплетен и старушечьей болтовни, а чтобы услышать Тебя в словах Твоих и быть услышанной Тобой в молитвах своих. Такою создала ее благодать Твоя. Ее ли слезами пренебрег бы Ты, ее ли бы оттолкнул и не подал ей помощи, когда она просила у Тебя не золота и серебра, не бренных и преходящих благ, а душевного спасения сыну? Нет, Господи, нет. Ты находился тут, Ты слышал ее и сделал все так, как это было предопределено Тобою. Невозможно, чтобы Ты обманывал ее в тех видениях и ответах Твоих, из которых я одни упоминал, а другие не упоминал и которые она хранила верным сердцем и, постоянно молясь, предъявляла Тебе, как собственноручное Твое обязательство. И Ты удостоил, «ибо во веки милость Твоя», перед теми, кому Ты отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещания свои.

Итак, Ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки Твоей, пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное.

Я и в Риме опять связался с этими «святыми» обманутыми обманщиками, и на этот раз не только со «слушателями», в числе которых находился и тот человек, в чьем доме я хворал и выздоровел, но и с теми, кого они зовут «избранными».

Я отчаялся уже, однако, в том, что могу найти полезное в их лживом учении, которым решил удовольствоваться, если не найду ничего лучшего; небрежно и кое-как я за него держался.

У меня зародилась даже мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, считавшие, что все подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна.

Я не упускал случая подавить в моем хозяине чрезмерную доверчивость, с которой он, я видел, относился к сказкам, наполняющим манихейские книги. Я продолжал, однако, быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом, и, однако, близость с манихеями (а много их укрывалось в Риме) делала меня ленивее на поиски другого, тем более, что я отчаялся, Господи неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в Церкви Твоей истину, от которой они меня отвертили: мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой. А так как, желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины – мне и казалось, что ничего бестелесного вообще и не существует, – то это и было главной и, пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения.

Затем я считал, что в Твоем Писании невозможно защищать те части, на которые манихеи нападали. Иногда, правда, я хотел обсудить каждую в отдельности с кем-нибудь, кто был хорошо осведомлен в этих книгах, и узнать, что он по этому поводу думает. Меня еще в Карфагене поколебали рассуждения некоего Элпидия, открыто выступавшего против манихеев: его словам о Писании противостоять было трудно. Довод манихеев казался мне слабым тем более, что они неохотно доставали его из-под спуда перед всеми, а сообщали только нам втайне: они говорили, что Новый Завет подделан какими-то людьми, захотевшими привить к христианской вере иудейский закон, но сами не показывали ни одного подлинного текста. А я, думая об этих телесных громадах, словно пленник, задыхавшийся под их тяжестью, не мог перевести дух и вздохнуть чистым и прозрачным воздухом Твоей простой истины.

Я прилежно взялся за дело, ради которого я приехал: начал преподавать в Риме риторику и сперва собрал у себя дома несколько учеников, знакомство с которыми доставило мне и дальнейшую известность. И вот я узнаю, что в Риме бывает то, чего в Африке мне не доводилось испытывать: здесь, действительно, юные негодяи не ставили всего вверх дном – это я сам видел, – но мне рассказывали о другом: «Вдруг, чтобы не платить учителю, юноши начинают

между собой сговариваться и толпой переходят к другому. Этим нарушителям слова дороги деньги; справедливость у них стоит дешево». Ненавидело таких сердце мое, хотя и не «совершенной ненавистью».

Поэтому, когда из Медиолана прислали к префекту Рима с просьбой найти для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я стал искать этого места с помощью тех же самых манихеев, пьяных тщеславием, чтобы избавиться от них, от которых я и уезжал, о чем ни сам я, ни они не подозревали. Было предложено произнести речь: Симмах, бывший тогда префектом, одобрил ее и отправил меня.

Я приехал в Медиолан к епископу Амвросию, к одному из лучших людей, известных по всему миру, благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди неустанно подавали народу Твоему «тук пшеницы Твоей, радовали маслом, опьяняли трезвым вином». Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к Тебе с моего ведома.

Этот Божий человек отечески принял меня и приветствовал мое переселение по-епископски. Я сразу полюбил его, сначала, правда, не как учителя истины, найти которую в твоей Церкви я отчаялся, но как человека ко мне благожелательного. Я прилежно слушал его беседы с народом не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено; я с величайшим вниманием ловил его слова и беззаботно пренебрегал их содержанием. Я наслаждался прелестью его речи, более ученой, правда, но менее яркой и привлекательной по форме, чем речь Фавста. По содержанию их нельзя было и сравнивать: один заблудился в манихейской лжи; другой спасительно учил спасению.

Но «далеко спасение от грешников», каким я был тогда, и, однако, исподволь и сам того не зная, приближался я к нему.

Хотя я и не старался изучить то, о чем он говорил, а хотел только послушать, как он говорит (эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к Тебе), но в душу мою разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, к которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других. И когда я открывал сердце свое тому, что было сказано красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного – входило, правда, постепенно. Прежде всего мне начало казаться, что эти мысли можно защищать, и я перестал думать, что только по бесстыдству можно выступать за православную веру, отстаивать которую против манихейских нападок, по моим прежним понятиям, было невозможно. Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных мест Ветхого Завета; их буквальное понимание меня убивало. Услышав объяснение многих текстов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себя за то отчаяние, в которое пришел когда-то, уверовав, что тем, кто презирает и осмеивает Закон и Пророков, противостоять вообще нельзя. Я не думал, однако, что мне следует держаться церковного пути: у православной веры есть ведь

свой ученые защитники, которые подробно и разумно опровергнут то, чего я держался, раз защищающиеся стороны равны по силе. Православная вера не казалась мне побежденной, но еще не предстала победительницей.

Тогда же я приложил все силы к тому, чтобы попытаться как-либо с помощью верных доказательств изобличить манихейскую ложь. Если бы я мог представить себе духовную субстанцию, то, конечно, все их построения развалились бы, и я отбросил бы их прочь, но я не мог. Я стал, однако, по тщательном рассмотрении и сравнении, приходить к заключению, что большинство философов гораздо вернее думали о самом мире и обо всей природе, доступной нашим телесным чувствам.

Итак, по примеру академиков (как их толкуют), во всем сомневаясь и ни к чему не пристав, я решил все же покинуть манихеев: я не считал возможным в этот период своих сомнений оставаться в secte, которой я уже предпочел некоторых философов; этим философам, однако, я отказался доверить лечение своей расслабленной души, потому что они не знали спасительного имени Христова. И я решил оставаться катехуменом в Православной Церкви, завещанной мне родителями, пока не засветится передо мной что-то определенное, к чему я и направлю путь.

## Книга шестая

Надежда моя от юности моей, где Ты был и куда удалился? Разве не Ты сотворил меня, не Ты отличил от животных и сделал разумнее небесных птиц? А я «ходил во мраке по скользким стезям»; я искал Тебя вне себя и не находил «Бога сердца моего» и дошел «до глубины морской», разуверившись и отчаявшись в том, что можно найти истину.

Ко мне приехала моя мать, сильная своим благочестием; она последовала за мной по суше и по морю, уповая на Тебя во всех опасностях. Во время бедствий на море она утешала самих моряков, которые, обычно, утешают путешественников, когда, незнакомые с морем, они приходят в смятение: она обещала им благополучное прибытие потому, что Ты обещал ей это в видении.

Она нашла меня в большой опасности: отыскать истину я отчаялся. От сообщения моего, что я уже не манихей, но и не православный христианин, она не преисполнилась радости будто от нечаянного известия: мое жалкое положение оставляло ее спокойной в этом отношении; она оплакивала меня, как умершего, но которого Ты должен воскресить; она представляла Тебе меня, как сына вдовы, лежавшего на смертном одре, которому Ты сказал: «Юноша, тебе говорю, встань» – и он ожил и «стал говорить, и Ты отдал его матери его». Поэтому сердце ее не затрепетало в бурном восторге, когда она услышала, что уже в значительной части совершилось то, о чем она ежедневно со слезами молилась Тебе; истины я еще не нашел, но ото лжи уже ушел. Будучи уверена, что Ты, обещавший целиком исполнить ее молитвы, довершишь и остальное, она очень спокойно, с полной убежденностью ответила мне, что раньше, чем

она уйдет из этой жизни, она увидит меня истинным христианином: она верит этому во Христе.

Только это и сказала она мне; Тебе же, Источник милосердия, воссыпала, еще чаще слезные молитвы, да ускориша помошь Свою и осветиша потемки мои. Еще прилежнее ходила она в церковь и, не отрываясь, слушала Амвросия «у источника воды, текущей в жизнь вечную». Она любила этого человека, как ангела Божия, узнав, что это он довел меня пока что до сомнений и колебаний; она уверенно ожидала, что я оправлюсь от болезни и стану здоров, пройдя через этот промежуточный и самый опасный час, который врачи называют критическим.

Однажды, по заведенному в Африке порядку, она принесла к могилам святых кашу, хлеб и чистое вино. Привратник не принял их. Узнав, что это запрет епископа, она приняла его распоряжение так послушно и почтительно, что я сам удивился, как легко она стала осуждать собственный обычай, а не рассуждать о его запрете. Душа ее не лежала к выпивке, и любовь к вину не подстрекала ненавидеть истину, как это бывает с большинством мужчин и женщин, которых от трезвых напевов тошнит как пьяниц от воды. Она приносila корзину с установленной едой, которую следовало сначала отведать, а потом раздать, а для себя оставляла только один маленький кубок, разведенный водой по ее трезвенному вкусу. Из него и отпивала она в знак уважения к обычаям; если надобно было таким же образом почтить память многих почивших, то она обносила этот самый кубок по всем могилам; понемногу прихлебывая не только очень жидкое, но и очень теплое вино, она принимала, таким образом, участие в общей трапезе, ища в ней благочестивого служения, а не наслаждения.

Итак, узнав, что славный проповедник и страж благочестия запретил этот обычай даже тем, кто трезвенноправлял его, – не надо давать пьяницам случая напиваться до беспечности, – кроме того, эти своеобразные поминки очень напоминали языческое суеверие, – мать моя очень охотно отказалась от него: она выучилась приносить к могилам мучеников вместо корзины, полной земных плодов, сердце, полное чистых обетов, и оделять бедных в меру своих средств. Там причащались Тела Господня; подражая ведь страстям Господа, принесли себя в жертву и получили венец мученики.

Мне кажется, однако, Господи Боже мой, – и сердце мое в этом открыто перед Тобой – мать моя, может быть, не так легко согласилась бы отвергнуть эту привычку, если бы запрет наложил другой человек, которого она любила бы не так, как Амвросия, которого любила чрезвычайно за мое спасение. Он же любил ее за благочестивый образ жизни, за усердие, с которым она неизменно посещала церковь, «пламенея духом» к добрым делам. У него часто при встрече со мной вырывались похвалы ей, и он поздравлял меня с тем, что у меня такая мать; он не знал, что у нее за сын, сын, который во всем сомневался и считал, что невозможно найти «путь жизни».

Я не стенал еще, молясь, чтобы Ты помог мне, но душа моя жила в

напряженном искации и беспокойном размышлении. Самого Амвросия я с мирской точки зрения почитал счастливцем за тот почет, который ему воздавали люди, облеченные высокой властью; тягостным только казалось мне его безбрачие. А какие надежды он питал, какую борьбу вел против соблазнов своего высокого положения; чем утешался в бедствиях; какую сочную радость переживало и передумывало сердце его от вкушения Твоего хлеба, об этом я не мог догадаться, и опыта в этом у меня не было.

И он не знал о бурях моих и о западне, мне расставленной. Я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищей, а чтением – духовные.

Мне, конечно, не представлялось никакой возможности подробно расспросить, о чем мне хотелось; как думал он об этом в сердце своем, святом Твоем прорицалище. Бывали только короткие разговоры. Волнению моему, чтобы отхлынуть, требовалась беседа на досуге, а его у Амвросия никогда не бывало. Я слушал его в народе, каждое воскресенье, «верно преподающего слово истины» и, все больше и больше утверждался в мысли, что можно распутать «все клеветнические хитросплетения, которые те обманщики сплетали во вражде своей против Писания.

Когда я увидел, что духовными детьми Твоими, которых Ты возродил благодатью от Матери Церкви, создание человека по образу Твоему не понимается так, будто Ты ограничил себя обликом человеческого тела (хотя я еще не подозревал, даже отдаленно, даже гадательно, что такая духовная субстанция), то я и покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на Православную Церковь, а на выдумки плотского воображения. Я был дерзким нечестивцем: я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал.

Ты же, пребывающий в вышних и рядом, самый далекий и самый близкий, у которого нет больших и меньших членов, который повсюду весь и не ограничен ни одним местом, Ты не имеешь, конечно, этого телесного облика, и, однако, «Ты создал человека по образу Твоему», и вот он – с головы до ног – ограничен определенным местом.

Так как я не знал, каким образом возник этот образ Твой, то мне надлежало стучаться и предлагать вопросы, как об этом следует думать, а не дерзко утверждать, будто вот так именно и думают. Забота о том, чтобы ухватиться за что-то достоверное, грызла меня тем жесточе, чем больше стыдился я, что меня так долго дурачили и обманывали обещанием достоверного знания, и я болтал с детским воодушевлением и недомыслием, объявляя достоверным столько недостоверного! Только позднее мне выяснилась эта ложь. Достоверным, однако, было для меня то, что все это недостоверно, а мною раньше принималось за достоверное, когда я слепо накидывался на Православную Церковь Твою и обвинял ее: учит ли она истине, я еще не знал, но уже видел,

что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями. Таким образом, приведен был я к смущению и к обращению: я радовался, Господи, что Единая Церковь, Тело Единого Сына Твоего, в которой мне, младенцу, наречено было имя Христово, не забавляется детской игрой и по здравому учению своему не запихивает Тебя, Творца вселенной, в пространство, пусть огромное, но ограниченное отовсюду очертаниями человеческого тела.

Я радовался также, что мне предлагалось, читать книги Ветхого Завета другими глазами, чем раньше: книги эти ведь казались мне нелепыми, и я изобличал мнимые мысли святых Твоих, мысливших на самом деле вовсе не так. Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, как правило: «буква убивает, а дух животворит». Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова. Я удерживал сердце свое от согласия с чем бы то ни было, боясь свалиться в бездну, и это висение в воздухе меня вконец убивало. Я хотел быть уверен в том, чего я не видел, так же, как был уверен, что семь да три десять. Я не был настолько безумен, чтобы считать и это утверждение недоступным для понимания, но я хотел постичь остальное так же, как сложение, будь это нечто телесное, но удаленное от моих внешних чувств, или духовное, которое я не умел представить себе иначе, как в телесной оболочке. Излечиться я мог бы верою, которая как-то направила бы мой прояснившийся умственный взор к истине Твоей, всегда пребывающей и ни в чем не терпящей ущерба.

С этого времени, однако, я стал предпочитать православное учение, поняв, что в его повелении верить в то, чего не докажешь (может быть, доказательство и существует, но, пожалуй, не для всякого, а может, его вовсе и нет), больше скромности и подлинной правды, чем в издевательстве над доверчивыми людьми, которым заносчиво обещают знание, а потом приказывают верить множеству нелепейших басен, доказать которые невозможно. А затем, Господи, Ты постепенно умирил сердце мое, касаясь его столь кроткой и жалостливой рукой. Я стал соображать, как бесчисленны явления, в подлинность которых я верю, но которые я не видел и при которых не присутствовал: множество исторических событий, множество городов и стран, которых я не видел; множество случаев, когда я верил друзьям, врачам, разным людям, – без этого доверия мы вообще не могли бы действовать и жить. Наконец, я был непоколебимо уверен в том, от каких родителей я происхожу: я не мог бы этого знать, не поверяя другим на слово. Ты убедил меня, что обвинять надо не тех, кто верит Книгам Твоим, которые Ты облек таким значением для всех почти народов, а тех, кто им не верит, и что не следует слушать людей, которые могут сказать: «Откуда ты знаешь, что эти Книги были преподаны человеческому роду Духом Божиим, истинным и исполненным правды?» Как раз в это самое и нужно было мне целиком поверить, потому что никакая едкость коварных вопросов, рассеянных по многим читанным мною философским сочинениям,

авторы которых спорили между собой, не могла истогнуть у меня, хотя на время, веры в Твое существование и в то, что Ты управляешь человеческими делами: я не знал только, что Ты есть.

Вера моя была иногда крепче, иногда слабее, но всегда верил я и в то, что Ты есть, и в то, что Ты заботишься о нас, хотя и не знал, что следует думать о субстанции Твоей, и не знал, какой путь ведет или приводит к Тебе. Не имея ясного разума, бессильные найти истину, мы нуждаемся в авторитете Священного Писания; я стал верить, что Ты не придал бы этому Писанию такого повсеместного исключительного значения, если бы не желал, чтобы с его помощью приходили к вере в Тебя и с его помощью искали Тебя. Услышав правдоподобные объяснения многих мест в этих книгах, я понял, что под нелепостью, так часто меня в них оскорблявшей, кроется глубокий и таинственный смысл. Писание начало казаться мне тем более достойным уважения и благовейной веры, что оно всем было открыто, и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого; по своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было Книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто не легкомыслен сердцем; оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы препровождало к Тебе немногих, — их впрочем гораздо больше, чем было бы, не вознеси Писание на такую высоту свой авторитет, не прими оно такие толпы людей в свое святое смиренное лоно.

Я думал об этом — и Ты был со мной; я вздыхал — и Ты слышал меня; меня кидало по волнам — и Ты руководил мною; я шел широкой мирской дорогой, но Ты не покидал меня.

Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к браку, и Ты смеялся надо мной. Эти желания заставляли меня испытывать горчайшие затруднения; Ты был ко мне тем милостивее, чем меньше позволял находить уладу там, где не было Тебя.

Посмотри в сердце мое, Господи: Ты ведь захотел, чтобы я вспомнил об этом и исповедался Тебе. Да прилепится сейчас к Тебе душа моя, которую Ты освободил из липкого клея смерти. Как она была несчастна! Ты поражал ее в самое больное место, да оставит все и обратится к Тебе, Который выше всего и без Которого ничего бы не было; да обратится и исцелится. Как был я ничтожен, и как поступил Ты, чтобы я в тот день почувствовал ничтожество мое! Я собирался произнести похвальное слово императору; в нем было много лжи, и людей, понимавших это, оно ко мне, лжецу, настроило бы благосклонно. Я задыхался от этих забот и лихорадочного наплыва изнуряющих размышлений. И вот, проходя по какой-то из медиоланских улиц, я заметил нищего; он, видимо, уже подвыпил и весело шутил. Я вздохнул и заговорил с друзьями, окружавшими меня, о том, как мы страдаем от собственного безумия; уязвляемые желаниями, волоча за собою ношу собственного несчастья и при этом еще его увеличивая, ценою всех своих мучительных усилий, вроде моих тогдашних, хотим мы достичь только одного: спокойного счастья. Этот нищий опередил нас; мы, может быть, никогда до нашей цели и не дойдем. Он получил за несколько выклянченных монет то, к чему я добирался таким мучительным,

кривым, извилистым путем – счастье преходящего благополучия. У него, правда, не было настоящей радости, но та, которую я искал на путях своего тщеславия, была много лживее. И он, несомненно, веселился, а я был в тоске; он был спокоен, меня била тревога. Если бы кто-нибудь стал у меня допытываться, что я предпочитаю: ликовать или бояться, я ответил бы: «ликовать». Если бы меня спросили опять: предпочитаю я быть таким, как этот нищий, или таким, каким я был в ту минуту, то я все-таки выбрал бы себя, замученного заботой и страхом, выбрал бы от развращенности. Разве была тут правда? Я не должен был предпочитать себя ему, потому что был ученее: наука не давала мне радости, я искал с ее помощью, как угодить людям – не для того, чтобы их научить, а только, чтобы им угодить. Поэтому посохом учения Твоего «Ты и сокрушал кости мои».

Прочь от меня те, кто скажет душе моей: «Есть разница в том, чему человек радуется. Тот нищий находил радость в выпивке; ты жаждал радоваться славе». Какой славе, Господи? Не той, которая в Тебе. Как та радость не была настоящей, так не была настоящей и моя слава; она только больше кружила мне голову. Нищий должен был в ту же ночь проспаться от своего опьянения; я засыпал и просыпался в моем; буду и впредь засыпать в нем и в нем просыпаться – посмотри, сколько дней! Я знаю, что есть разница в том, чему человек радуется: радость верующего и надеющегося несравнима с этой пустой радостью. И тогда, однако, нельзя было нас сравнивать. Разумеется, он был счастливее и не только потому, что веселье было в нем через край, а меня гладили заботы, но и потому, что он раздобыл себе вина, осыпая людей добрыми пожеланиями, а я ложью искал утолить свою спесь.

Я вздыхал об этом вместе с моими друзьями, с которыми жил, и особенно откровенно разговаривал с Алипием и Небридием. Алипий был родом из того же муниципия, что и я, происходил из муниципальной знати и был моложе меня возрастом. Он учился у меня, когда я начал преподавать в нашем городе и позже в Карфагене, и очень любил меня, считая добрым и ученым человеком; я же любил его за врожденные задатки ко всему доброму, достаточно обнаружившиеся в нем, когда был он еще совсем юн. Водоворот карфагенской безнравственности с ее пылким увлечением пустыми зрелищами втянул его в цирковое помешательство, и оно закружило его жалостным образом. В то время я был занят преподаванием риторики в городской школе. Он еще не учился у меня по причине некоторой натянутости, возникшей между мною и его отцом. Я узнал, что он одержим губительной любовью к цирку, и тяжко опечалился, мне казалось, что юноша, подававший такие надежды, обречен на гибель, если уже не погиб. У меня не было никакой возможности ни уговорить его, ни удержать силой – по дружеский ли благожелательности или по праву учителя. Я полагал, что он относится ко мне так же, как и отец, но он был настроен иначе. Не считаясь с отцовской волей, он начал здороваться со мной и заходить ко мне в аудиторию: послушает меня и уйдет.

У меня выпало из памяти поговорить с ним о том, чтобы он не убивал своих превосходных дарований слепым и пагубным пристрастием к пустым забавам.

Ты же, Господи, Который стоишь у кормила всего сотворенного Тобой, Ты не забыл будущего служителя Твоего. Его исправление должно быть приписано явно Тебе, но совершил Ты его через меня, без моего ведома.

Однажды, когда я сидел на обычном месте, а передо мной находились ученики, Алипий вошел, поздоровался, сел и углубился в наши занятия. Случайно в руках у меня оказался текст, который, показалось мне, удобно пояснить примером, заимствованным из цирковой жизни; чтобы сделать мысль, которую я старался внедрить, приятнее и понятнее, я едко осмеял людей, находившихся в пленау этого безумия. Ты знаешь, Господи, что в ту минуту я не думал о том, как излечить Алипия от этой заразы. Он же сразу отнес эти слова к себе и решил, что они были сказаны только ради него. Другой, услышав их, вспыхнул бы гневом на меня, но честный юноша, услышав их, вспыхнул гневом на себя и еще горячее привязался ко мне. Ты ведь сказал когда-то и включил это слово в Писание: «обличай мудрого, и он возлюбит тебя». А я и не обличал его, но Ты, пользуясь всеми, с ведома и без ведома их, в целях Тебе известных – и цели эти всегда справедливы, – превратил слова мои и мысли в горящие угли, чтобы выжечь гниль в душе, подающей добрые надежды, и исцелить ее. Пусть не восхваляет Тебя тот, кто не видит милосердия Твоего, которое я исповедую Тебе из глубины сердца своего.

После моих слов он вырвался из этой глубокой ямы, куда с удовольствием влез, наслаждаясь собственным самоослеплением; мужественное самообладание встряхнуло его душу, и с нее слетела вся цирковая грязь; в цирк он больше не показывался. Затем он преодолел сопротивление отца, не желавшего, чтобы сын имел меня своим учителем; отец отступил и уступил. Начав у меня опять свое учение, он вместе со мной запутался в манихейском суеверии: ему нравилась их хваленаядержанность, которую он считал подлинной и настоящей. А была она коварной и соблазнительной, уловляющей драгоценные души, не умеющие пока прикоснуться к высотам истинной добродетели; они легко обманывались внешностью добродетели, мнимой и поддельной.

Не оставляя, конечно, того земного пути, о котором ему столько напели родители, он раньше меня отправился в Рим изучать право, и там захватила его невероятным образом невероятная жадность к гладиаторским играм.

Подобные зрелища были ему отвратительны и ненавистны. Однажды он случайно встретился по дороге со своими друзьями и соучениками, возвращавшимися с обеда, и они, несмотря на его резкий отказ и сопротивление, с ласковым насилием увлекли его в амфитеатр. Это были как раз дни жестоких и смертоубийственных игр. «Если вы тащите мое тело в это место и там его усадите, – сказал Алипий, – то неужели вы можете заставить меня впиться душой и глазами в это зрелище? Я буду присутствовать, отсутствуя, и таким образом одержу победу и над ним, и над вами». Услышав это, они тем не менее повели его с собой, может быть, желая как раз испытать, сможет ли он сдержать свои слова. Придя, они расселись, где смогли; все вокруг кипело свирепым наслаждением. Он, сомкнув глаза свои, запретил душе

броситься в эту бездну зла; о, если бы заткнул он и уши! При каком-то случае боя, потрясенный неистовым воплем всего народа и побежденный любопытством, он открыл глаза, готовый как будто пренебречь любым зрелищем, какое бы ему ни представилось. И душа его была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть; он упал несчастливее, чем тот, чье падение вызвало крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза: теперь можно было поразить и низвергнуть эту душу, скорее дерзкую, чем сильную, и тем более немощную, что она полагалась на себя там, где должна была положиться на Тебя. Как только увидел он эту кровь, он упился свирепостью; он не отвернулся, а глядел, не отводя глаз; он неистовствовал, не замечая того; наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, к которой пришел, настоящим товарищем тех, кто его привел. Чего больше? Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно. Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой: он опережал их и влек за собой других. И отсюда вырвал его Ты мощной и милосердной рукой и научил его надеяться не на себя, а на Тебя; только случилось это гораздо позднее.

В памяти его остался этот случай, как лекарство на будущее. То же было и с другим происшествием.

Он тогда еще учился у меня в Карфагене. Однажды в полдень обдумывал он на форуме декламацию, которую должен был произнести, – это обычное школьное упражнение, – и Ты допустил, чтобы его как вора, схватили сторожа форума. Думаю, Господи, что Ты разрешил это только по одной причине: пусть этот муж, столь великий в будущем, рано узнает, что нельзя быть опрометчиво доверчивым при разборе дела и нельзя человеку с легким сердцем осуждать человека.

Он прогуливался перед судилищем один, со своими дощечками и стилем, когда какой-то юноша, тоже школьник, оказавшийся настоящим вором, подошел со спрятанным топором незаметно для Алипия к свинцовой решетке над улицей Ювелиров и стал обрубать свинец. Услышав стук топора, ювелиры, находившиеся внизу, заволновались и послали людей схватить того, кто будет застигнут. Услышав голоса, вор бросил свое орудие, боясь, что его с ним задержат, и убежал. Алипий не видел, как он вошел, но как выходил, заметил; видел, что тот удирает. Желая узнать, в чем дело, он подошел к тому же месту и, стоя, с изумлением рассматривал найденный топор. Посланые находят Алипия одного; он держит в руках топор, на стук которого они прибежали; его хватают, тащат и, хвастаясь, что поймали на месте преступления вора, в сопровождении толпы людей, живших около форума, ведут представить судье.

На этом и кончился урок. Ты тут же, Господи, пришел на помощь невинности, свидетелем которой был один Ты. Когда его вели – в темницу ли или на пытку – с ним повстречался архитектор, бывший главным надзирателем за общественными зданиями. Провожатые чрезвычайно обрадовались этой

встрече, потому что, когда с форума что-то пропадало, то он неизменно подозревал их в краже: пусть, наконец, он узнает, кто это делал. Человек этот часто видел Алипия в доме одного сенатора, к которому хаживал; он сразу же узнал Алипия; взяв за руку, вывел из толпы, стал расспрашивать, почему стряслась такая беда, и услышал, что произошло. Он приказал идти за собою всему собранию, грозно шумевшему и волновавшемуся. Подошли к дому юноши, совершившего кражу; у ворот стоял раб. Был это совсем мальчик; ему и в голову не пришло испугаться за своего хозяина, а рассказать обо всем он мог, так как сопровождал хозяина на форуме. Алипий припомнил его и сообщил об этом архитектору. Тот показал рабу топор и спросил, чей он. «Наш», – тотчас же ответил он, и когда его стали расспрашивать, то он раскрыл и все остальное.

Так перенесено было обвинение на этот дом к смущению толпы, собравшейся было справлять триумф над Алипием; будущий проповедник Слова Твоего и церковный судья во многих делаах ушел, обогатившись знанием и опытом.

Итак, я застал его в Риме; крепкие узы связывали его со мной, и он отправился в Медиолан, чтобы не покидать меня и на практике применить свое значение права; тут он больше следовал желанию родителей, чем своему. Он уже трижды был заседателем и поражал остальных своим бескорыстием; его еще больше поражали люди, которым золото было дороже честности. Характер его, впрочем, подвергали испытанию не только соблазны стяжания, но и жало страха.

В Риме был он асессором при комите, ведавшем итальянскими финансами. Был там в это время один могущественнейший сенатор; многих связал он своими благодеяниями или подчинил страхом. Он захотел, пользуясь, как обычно, своим могуществом, дозволить себе нечто, законом недозволенное; Алипий воспротивился. Ему пообещали награду, он посмеялся; пригрозили – он презрел угрозы. Все удивлялись этой необыкновенной душе, которая не желала себе в друзья и не боялась, как недруга, человека, широко известного своими бесчисленными возможностями и покровительствовать и вредить. Комит, при котором Алипий состоял в советниках, хотя и сам был против, он не отвечал сенатору открытым отказом: он сваливал вину на Алипия, уверяя, что тот не позволяет ему дать согласие; и на самом деле, если бы комит сам уступил, то Алипий его бы покинул. Одно только пристрастие к науке чуть не соблазнило его: он мог на судейские средства заказывать себе книги. Обдумав по справедливости, он, однако, повернул решение свое на лучшее, рассудив, что выше правда, которая запрещает, чем власть, которая разрешает. Это мелочь, но «верный в малом и во многом верен». Не может быть пустым слово, исшедшее из уст Истины Твоей: «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?».

Таков был человек, разделявший тогда мою жизнь и вместе со мной колебавшийся, какой образ жизни ему избрать.

Небридий оставил родину, находившуюся по соседству с Карфагеном, и самый Карфаген, где он постоянно бывал, оставил прекрасную отцовскую деревню,

оставил родной дом и мать, которая не собиралась следовать за ним, и прибыл в Медиолан только для того, чтобы не расставаться со мной в пылком искании истины и мудрости: горячий искатель счастливой жизни, острый исследователь труднейших вопросов, он, как и я, вздыхал, как и я, метался.

Нас было трое голодных, дышавших воздухом общей нищеты, «ожидая от Тебя, чтобы Ты дал им пищу во благовремение». При всяком горьком разочаровании, сопровождавшем, по милосердию Твоему, наши мирские дела, мы искали смысла своих страданий, и ничего в темноте не видели. Мы отворачивались, вздыхая, и говорили: «Доколе же?» Мы часто говорили это и, говоря так, продолжали жить, как жили, потому что перед нами не маячило ничего верного, ухватившись за что, мы оставили бы нашу прежнюю жизнь.

Я больше всего удивлялся, с тоской припоминая, как много времени прошло с моих девятнадцати лет, когда я впервые загорелся любовью к мудрости. Я предполагал, найдя ее, оставить все пустые желания, тщетные надежды и лживые увлечения. И вот мне уже шел тридцатый год, а я оставался увязшим в той же грязи, жадно стремясь наслаждаться настоящим, которое ускользало и рассеивало меня. Я говорил: «Завтра я найду ее, вот она воочию предстанет передо мной, я удержу ее: вот придет Фавст и все объяснит». О, великие академики! О том, как жить, ничего нельзя узнать верного! Давай, однако, поищем прилежнее и не будем отчаиваться. Вот уже то, что казалось в церковных книгах нелепым, вовсе не нелепо; это можно понимать иначе и правильно. Утверждаюсь на той ступени, куда ребенком поставили меня родители, пока не найду явной истины. Но где искать ее? Когда искать?

Нет, надо все-таки распределить часы, выбрать время для спасения души. Великая надежда уже появилась у меня: православная вера не учит так, как я думал и в чем ее попусту обвинял: люди, сведущие в ней, считают нечестием верить, что Бог ограничен очертанием человеческого тела. И я сомневаюсь поступать, чтобы открылось и остальное. Утренние часы заняты у меня учениками, а что делаю я в остальные? Почему не заняться этими вопросами? Но когда же ходить мне на поклон к влиятельным друзьям, в чьей поддержке я нуждаюсь? Когда приготовлять то, что покупают ученики? Когда отдыхать самому, отходя душой от напряженных забот?

Прочь все; оставим эти пустяки; обратимся только к поискам Истины. Жизнь жалка; смертный час неизвестен. Если он подкрадется внезапно, как уйду я отсюда? Где выучу то, чем пренебрег здесь? И не придется ли мне нести наказание за это пренебрежение? А что, если смерть уберет все тревожные мысли и покончит со всем? Надо и это исследовать. Нет, не будет так. Не зря, не попусту по всему миру разлилась христианская вера во всей силе своего высокого авторитета. Никогда не было бы совершено для нас с Божественного изволения так много столь великого, если бы со смертью тела исчезала и душа. Что же медлим, оставив мирские надежды, целиком обратиться на поиски Бога и блаженной жизни?

Подожди: и этот мир сладosten, в нем немало своей прелести, нелегко оборвать

тягу к нему, а стыдно ведь будет опять к нему вернуться. Много ли еще мне надо, чтобы достичь почетного звания! А чего здесь больше желать? У меня немало влиятельных друзей; если и не очень нажимать и не хотеть большего, то хоть должность правителя провинции я могу получить. Следует мне найти жену хоть с небольшими средствами, чтобы не увеличивать своих расходов. Вот и предел моих желаний. Много великих и достойных подражания мужей вместе с женами предавались изучению мудрости.

Пока я это говорил и переменные ветры бросали мое сердце то сюда, то туда, время проходило, я медлил обратиться к Богу и со дня на день откладывал жить в Тебе, но не откладывал ежедневно умирать в себе самом. Любя счастливую жизнь, я боялся найти ее там, где она есть: я искал ее, убегая от нее. Я полагал бы себя глубоко несчастным, лишившись женских объятий, и не думал, что эту немощь может излечить милосердие Твое: я не испытал его. Я верил, что воздержание зависит от наших собственных сил, которых я за собой не замечал; я не знал, по великой глупости своей, что написано: «Никто не может быть воздержанным, если не дарует Бог». А Ты, конечно, даровал бы мне это, если бы стон из глубины сердца поразил уши Твои, и я с твердой верой переложил бы на Тебя заботу свою.

Удерживая меня от женитьбы, Алипий упорно твердил, что если я женюсь, то мы никоим образом не сможем жить вместе, в покое и досуге, в любви к мудрости, согласно нашему давнишнему желанию. Сам он был в этом отношении даже тогда на удивление чистым человеком: на пороге юности узнал он плотскую связь, но порвал с ней; от нее у него остались скорее боль и отвращение, и с тех пор он жил в строгом воздержании. Я же спорил с ним, приводя в пример женатых людей, которые служили мудрости, были угодны Богу и оставались верными и преданными друзьями. Мне, конечно, далеко было до их душевного величия: скованный плотским недугом, смертельным и сладостным, я волочил мою цепь, боясь ее развязать, и отталкивал добрый совет и руку развязывающего, словно прикосновение к ране.

Алипий удивлялся тому, насколько я увяз в липком клее этого наслаждения (а он высоко меня ставил), ибо всякий раз, когда мы разговаривали друг с другом по этому поводу, я утверждал, что никоим образом не смогу прожить холостым. Видя его удивление, я стал защищаться, говоря, что существует большая разница между тем, что он испытал украдкой и мимоходом, чего он почти не помнит и чем поэтому так легко, вовсе не тяготясь, пренебрегает, и моей длительной, обратившейся в сладостную привычку, связью. Если бы сюда добавить и честное имя супружества, то нечего бы ему и удивляться, почему я не в силах презреть такую жизнь. В конце концов Алипий сам захотел вступить в брак, уступая отнюдь не жажде этих наслаждений, а из любопытства. Он говорил, что хочет узнать, что же это такое, без чего моя жизнь, ему вообще нравившаяся, кажется мне не жизнью, а мукой.

То, что украшает супружество: упорядоченная семейная жизнь и воспитание детей – привлекало и его и меня весьма мало. Меня держала в мучительном

плену, главным образом, непреодолимая привычка к насыщению ненасытной похоти; его влекло в плен удивление. Таковы были мы, пока Ты, Всевышний, не покидающий вашей земли, не скалился над жалкими и не пришел к нам на помошь дивными и тайными путями.

Меня настоятельно заставляли жениться. Я уже посватался и уже получил согласие; особенно хлопотала здесь моя мать, рассчитывая, что, женившись, я омоюсь спасительным Крещением, к которому, ей на радость, я с каждым днем все больше склонялся; в моей вере видела она исполнение своих молитв и Твоих обещаний.

На женитьбе настаивали: я посватался к девушке, бывшей на два года моложе брачного возраста, а так как она нравилась, то решено было ее ждать.

Тем временем грехи мои умножились. Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое, приросшее к ней, разрезали, и оно кровоточило. Она вернулась в Африку, дав Тебе обет не знать другого мужа и оставив со мной моего незаконного сына, прижитого с ней. Я же, несчастный, не в силах был подражать этой женщине: не вынеся отсрочки — девушку, за которую я сватался, я мог получить только через два года, — я, стремившийся не к брачной жизни, а раб похоти, добыл себе другую женщину, не в жены, разумеется. Болезнь души у меня поддерживалась и длилась, не ослабевая, и даже усиливаясь этим угождением застарелой привычке, гнавшей меня под власть жены. Не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей: жгучая и острыя боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно.

Тебе хвала, Тебе слава. Источник милосердия. Я становился все несчастнее, и Ты все ближе. Надо мной была уже десница Твоя, готовая вот-вот выхватить меня из грязи и омыть, но я не знал этого. От омута плотских наслаждений, еще более глубокого, меня удерживал только страх смерти и будущего Суда Твоего, который, при всей смене моих мыслей, никогда не покидал моего сердца.

О пути извилистые! Горе дерзкой душе, которая надеялась, что, уйдя от Тебя, она найдет что-то лучшее. Она вертелась и поворачивалась и с боку на бок, и на спину, и на живот — все жестко. В Тебе одном покой.

И вот Ты здесь, Ты освобождаешь от жалких заблуждений и ставишь нас на дорогу Свою, и утешаешь, и говоришь: «Бегите, Я понесу вас и доведу до цели и там вас понесу».

## Книга седьмая

Уже умерла моя молодость, злая и преступная: я вступил в зрелый возраст, и чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза. Я не представлял Тебя, Господи, в человеческом образе: с тех пор, как я стал прислушиваться к голосу мудрости, я всегда бежал таких представлений и радовался, что нашел ту же веру в Православной Церкви

Твоей, духовной Матери нашей. Мне не приходило, однако, в голову, как иначе представить Тебя. Я пытался – я, человек и такой человек – представить Тебя, высочайшего, единого, истинного Бога!

Я представлял себе так, Жизнь жизни моей, что Ты, Великий, на бесконечном пространстве отовсюду проникаешь огромный мир и что Ты разлит и за его пределами по всем направлениям в безграничности и неизмеримости: Ты на земле, Ты на небе. Ты повсюду и все оканчивается в Тебе, – Тебе же нигде нет конца. И как плотный воздух, воздух над землей, не мешает солнечному свету проходить сквозь него и целиком его наполнять, не разрывая и не раскалывая, так, думал я, и Тебе легко пройти не только небо, воздух и море, но также и землю: Ты проникаешь все части мира; самые большие и малые, и они ловят присутствие Твое; Своим таинственным дыханием изнутри и извне управляешь Ты всем, что создал. Так предполагал я, не будучи в силах представить себе ничего иного; и это была ложь. В таком случае большая часть земли получила бы большую часть Тебя, а меньшая – меньшую: Ты наполнял бы собою все, но в слоне Тебя было бы больше, чем в воробье, и настолько, насколько слон больше воробья и занимает большее место. Таким образом, Ты уделял бы себя отдельным частям мира по кускам: большим давал бы много, малым мало. На деле это не так, но Ты не осветил еще мрака, в котором я пребывал.

Хотя я и утверждал, что Ты непорочен, постоянен и совершенно неизменяем, и твердо верил в это, Бог наш, истинный Бог, Который создал не только души наши, но и тела, не одни души наши и тела, но все и всех, для меня, однако, не была еще ясна и распутана причина зла. Я видел только, что, какова бы она ни была, ее надо разыскивать так, чтобы не быть вынужденным признать Бога, не знающего измены, изменяющимся; не стать самому тем, что искал.

И я искал, откуда зло, но искал плохо и не видел зла в самых розысках моих. Я мысленно представил себе все созданное: и то, что мы можем видеть, – например, землю, море, воздух, светила, деревья, смертные существа, – и для нас незримое, – например, твердь вышнего неба, всех ангелов и всех духов. Даже их, словно они были телесны, разместило то тут, то там воображение мое. Я образовал из созданного Тобой нечто огромное и единое, украшенное существами разных родов: были тут и подлинные телесные существа и вымыщленные мною в качестве духовных. Это «нечто» я представил себе огромным – не в меру настоящей своей величины, мне непостижимой – но таким, как мне хотелось, и отовсюду ограниченным. Ты же, Господи, со всех сторон окружал и проникал его, оставаясь во всех отношениях бесконечным.

Такие мысли думал и передумывал я в несчастном сердце своем, которое тяготил и грыз страх смерти и, сознание, что истина не найдена; стойко, однако, держалась у меня в сердце церковная, православная вера в Христа Твоего, «Господа и Спасителя нашего», во многом, правда, еще неясная, без опоры в догматах, но она не покидала души, со дня на день все больше и больше ее проникая.

И Ты пожелал показать мне, как «Ты противишься гордым, смиренным же

даешь благодать», и как Ты милосерд, явив людям путь смирения, ибо «Слово стало плотью и обитало среди людей». Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторые книги платоников, переведенные с греческого на латинский. И вразумленный этими книгами я вернулся к себе самому и руководимый Тобой вошел в самые глубины свои: я смог это сделать, потому что «стал Ты помощником моим».

Я оглянулся на мир созданный и увидел, что Тебе обязан он существованием своим и в Тебе содержится, но по-иному, не так, словно в пространстве; Ты, Вседержитель, держишь его в руке, в истине Твоей, ибо все существующее истинно, поскольку оно существует. Ничто не призрачно, кроме того, что мы считаем существующим, тогда как оно не существует. И я увидел, что все соответствует не только своему месту, но и своему времени, и Ты, Единый Вечный, начал действовать не после неисчислимых веков: все века, которые прошли и которые пройдут, не ушли бы и не пришли, если бы Ты не действовал и не пребывал.

Чтение книг платоников надоумило меня искать бестелесную истину: я увидел «невидимое, понятое через творение», и, отброшенный назад, почувствовал, что, по темноте души моей, созерцание для меня невозможно. Я был уверен, что Ты существуешь, что Ты бесконечен, но не разлит в пространстве, конечном или бесконечном. Воистину Ты существуешь. Ты, Который всегда Тот же, во всем неизменный, ничем неизменяемый; от Тебя все получило свое существование, – единственное вернейшее тому доказательство в том, что оно существует. Я был в этом уверен, но слишком слаб, чтобы жить Тобой.

Итак, я с жадностью схватился за почтенные Книги, продиктованные Духом Твоим, и прежде всего за Послания апостола Павла. Исчезли все вопросы по поводу тех текстов, где, как мне казалось когда-то, он противоречит сам себе, и не совпадает со свидетельствами Закона и пророков проповедь его: мне выяснилось единство этих святых изречений, и я выучился «кликовать в трепете». Я начал читать и нашел, что все истинное, вычитанное мной в книгах философов, говорится и в Твоем Писании при посредстве благодати Твоей. Тот, кто издали не может увидеть Тебя, пусть все же вступит на дорогу, по которой придет, увидит и будет с Тобой.

Одно – увидеть с лесистой горы отчество мира, но не найти туда дороги и тщетно пытаться пробиться по бездорожью среди ловушек и засад, устроенных беглыми изменниками во главе со львом и змием, и другое – держать путь, ведущий туда, охраняемый заботой Небесного Вождя: там не разбойничают изменившие Небесному Воинству; они бегут от него, словно спасаясь от пытки. Эти мысли чудесным образом внедрялись в меня, когда я читал «меньшего из твоих апостолов»; созерцал я дела Твои и устрашился.

## Книга восьмая

Боже мой! Как вспомнить и возблагодарить Тебя, как исповедать милосердие

Твое, на меня излитое?! Да исполнятся кости мои любовью к Тебе и да воскликнут: «Господи! Кто подобен Тебе? Ты разорвал оковы мои; да принесу Тебе приношение хвалы». Каким образом Ты разорвал их, об этом я расскажу, и все поклоняющиеся Тебе, услышав мой рассказ, воскликнут: «Благословен Господь на небе и на земле; велико и дивно Имя Его».

В глубине сердца моего жили слова Твои, в плenу держал Ты меня. Я был уверен, что Ты пребываешь вечно, но вечность эта была для меня «загадкой», «отражением в зеркале». Ушли все сомнения в Твоей неизменной субстанции; в том, что от нее всякая субстанция; не больше знать о Тебе, а уверенно жить в Тебе хотел я. В моей временной жизни не было ничего прочного, и следовало очистить сердце мое от старой закваски. Мне нравился Путь – Сам Спаситель, но не было охоты идти этим узким путем. И Ты внушил мне отправиться к Симплициану (добрый счел я по разумению своему это решение): он казался мне добрым рабом Твоим, осиянным благодатью Твою. Я слыхал, что от юности своей был он благоговейно Тебе предан; теперь был он уже глубоким стариком, и я полагал, что в многолетнем усердном следовании по пути Твоему он много испытал и много узнал. Так и было в действительности. Я хотел рассказать ему о своей неутихающей тревоге: пусть покажет мне, как лучше всего поступить мне в тогдашнем моем состоянии, чтобы пойти по пути Твоему.

Итак, я отправился к Симплициану, отцу по благодати Твоей епископа Амвросия, который любил его, действительно, как отца. Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях. И когда я упомянул, что прочел те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме (я слышал, он умер христианином), перевел на латинский язык, Симплициан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других философов, полные лжи и обманов «по стихиям этого мира»; те же книги на разные лады, но всегда проникнуты мыслями о Боге и Его Слове. Затем, уговаривая меня смириться перед Христом – это «утаено от мудрых, и открыто младенцам» – он вспомнил самого Викторина, которого, проживая в Риме, близко знал. Не умолчу о рассказанном, ибо подобает исповедать и громко восхвалить милость Твою: этот ученейший старец, глубокий знаток всех свободных наук, который прочитал и разобрал столько философских произведений, наставник множества знатных сенаторов, заслуживший за свое славное учительство статую на римском форуме (граждане этого мира считают эту почесть особо высокой), до самой старости почитатель идолов, участник нечестивых тайнств, увлекаясь которыми почти вся тогдашняя римская знать чтила младенца Озириса, – все это старец Викторин столько лет защищал грозно звучащим словом и не устыдился стать дитятей Христа Твоего, младенцем источника Твоего; подставил шею под смиренное ярмо и укротил гордость под «позорным» Крестом.

Господи! Господи! Ты, преклонивший небеса и сошедший на землю, касавшийся гор, которые дымились от Твоего прикосновения, – каким образом проник Ты в это сердце?

Он читал, по словам Симплициана, Священное Писание, старательно разыскивал всякие христианские книги, углублялся в них и говорил Симплициану – не открыто, а в тайности по дружбе: «Знаешь, я уже христианин». Тот отвечал ему: «Не поверю и не причислю тебя к христианам, пока не увижу в Церкви Христовой». Викторин посмеивался: «Значит, христианином делают стены?» – и часто говорил, что он уже христианин, а Симплициан часто отвечал ему теми своими словами, и часто повторял Викторин свою шутку о стенах. Он боялся оскорбить своих друзей, этих горделивых демонослужителей; полагал, что с высоты их вавилонского величия, словно с кедров ливанских, которых еще не сокрушил Господь, тяжко обрушат они на него свою ненависть. После, однако, жадно читая и впитывая прочитанное, проникся он твердостью и убрался, что «Христос отречется от него пред святыми Ангелами», если он «убоится исповедать Его пред людьми». Он показался себе великим преступником: ему стыдно присягнуть смиренному Слову Твоему и не стыдно нечестивой службы гордым демонам, которую онправлял, уподобляясь им в гордыне! Ему опровергала ложь, его устыдила истина: неожиданно и внезапно он, как рассказывал Симплициан, говорит ему: «Пойдем в церковь; я хочу стать христианином». Тот вне себя от радости отправился с ним. Наставленный в началах веры, он вскоре объявил, что желает возродиться Крещением; Рим изумлялся. Церковь ликовала. Гордецы видели и негодовали; изводились и скрежетали зубами; рабу же Твоему «Господь Бог был надеждой и не озирался он на суету и безумство лжи».

Пришел наконец час исповедания веры. Это была формула, составленная в точных словах, и приступающие к благодати Крещения произносили ее наизусть с высокого места перед лицом христианского Рима. Симплициан рассказывал, что священнослужители предложили Викторину произнести ее тайно (в обычай было предлагать это людям, которые, вероятно, смущались бы и оробели). Он предпочел, однако, объявить о спасении своем перед лицом верующей толпы. Не было спасения в том, чему обучал он в риторской школе, и однако преподавал он открыто. Тому, кто не стеснялся слов своих перед толпами безумцев, пристало разве, возглашая слова Твои, стесняться кроткого Твоего стада? Когда он взошел произнести исповедание, среди всех знавших его, его имя прозвучало в шелесте поздравлений. А кто тогда не знал его? В устах всех сорадующихся приглушенno звучало: «Викторин, Викторин!» Громкое ликование при виде его; затем напряженное молчание: хотели его слышать. Он исповедал истинную веру с дивной уверенностью, и все хотели принять его в сердце свое, – и принимали, обвивая его, словно руками, любовью и радостью.

Боже Благий! Почему больше радуются о спасении души отчаявшейся и освободившейся от великой опасности, чем о человеке, которого никогда не покидала надежда и который не знал большой опасности? Ведь и Ты, Отец Милосердный, больше радуешься «об одном кающемся, чем о девяноста девяты праведниках, не нуждающихся в покаянии». Да, Ты радуешься в нас и в ангелах Своих, освященных святой любовью. Ты ведь вечно неизменен и одинаково от века знаешь все, что преходящее и изменчиво.

Господи! Пробуди же нас и призови к Себе, обожги и восхити, воспламени и облей своим сладостным благоуханием: да полюбим Тебя, да бросимся к Тебе. Разве многие не возвращаются к Тебе, как Викторин, из темноты адского подземелья? Они подходят к Тебе и озаряются тем светом, от которого люди получают силу стать сынами Твоими.

Когда Симплициан, Твой человек, рассказал мне это о Викторине, я загорелся желанием ему подражать: для того, конечно, он и рассказывал.

Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чем читал, как «тело замышляет против духа, а дух против тела». Я жил и тем и другим, но больше жил в том, что в себе одобрял, чем в том, чего в себе не одобрял. Меня связывало земное; я отказывался стать Твоим воином и так боялся разгрузки от всякой ноши, как следовало бы бояться нагрузки.

Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне; размышления мои о Тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но, одолеваемые глубоким сном, вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать, – бодрствование, по здравому и всеобщему мнению, лучше, – но человек обычно медлит стряхнуть сон: члены его отяжелели, сон уже неприятен, и, однако, он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Так и я уже твердо знал, что лучше мне себя любви Твоей отдать, чем злому желанию уступать; она влекла и побеждала, но оно было мило и держало. Мне нечего было ответить на Твои слова: «Проснись, спящий; восстань из мертвых, и озарит тебя Христос». Мне, убежденному истиной, вообще нечего было ответить Тебе, везде являющему истину Своих слов, разве только вяло и устало: «Сейчас», «вот сейчас», «подожди немного», но это «сейчас и сейчас» не определяло часа, а «подожди немного» растягивалось надолго. Напрасно сочувствовал я «закону Твоему, согласному с внутренним человеком», когда «другой закон в членах моих противился закону ума моего и делал меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Греховный же закон – это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже против ее воли, но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она добровольно. Кто же может освободить меня, несчастного, от «этого тела смерти», как не благодать Твоя, дарованная через Господа нашего Иисуса Христа?

Исповедуюсь Тебе, Господи, мой Помощник и мой Искупитель, и расскажу, как освободил Ты меня от пут плотского вожделения (они тесно оплели меня) и от рабства мирским делам. Я вел обычную свою жизнь, а тревога моя росла; ежедневно вздыхал я о Тебе – и посещал церковь Твою, насколько позволяли дела мои, под бременем которых я стонал. Со мною жил Алипий, освободившийся от своих обязанностей юрисконсультта после того, как он был в третий раз асессором.

И вот однажды приходит к нам домой, ко мне и к Алипию, некий Понтициан, наш земляк, поскольку он был уроженцем Африки, занимавший видное место при дворе; не помню, чего он хотел от нас. Мы сели побеседовать. Случайно он

заметил на игорном столе, стоявшем перед нами, книгу, взял ее, открыл и неожиданно наткнулся на Послания апостола Павла, а рассчитывал найти что-либо из книг, служивших преподаванию, меня изводившему. Улыбнувшись, он с изумлением взглянул на меня и поздравил с тем, что эти и только эти книги вдруг оказались, у меня перед глазами. Он был верным христианином и неоднократно простирался пред Тобой, Боже наш, часто и длительно молясь в церкви.

Когда я объяснил ему, что я больше всего занимаюсь Писанием, зашел у нас разговор (он стал рассказывать) об Антонии, египетском монахе, изрядно прославленном среди рабов Твоих, но нам до того часа неизвестном. Узнав об этом, он только о нем и стал говорить, знакомя невежд с таким человеком и удивляясь этому нашему невежеству. Мы остолбенели: по свежей памяти, почти в наше время неоспоримо засвидетельствованы чудеса Твои, сотворенные по правой вере в Православной Церкви. Все были изумлены: мы – величием происшедшего; он – тем, что мы об этом не слышали.

Отсюда завел он речь о толпах монахов, об их нравах, овеянных благоуханием Твоим, о пустынях, изобилующих отшельниками, о которых мы ничего не знали. И в Медиолане, за городскими стенами, был монастырь, полный добрых братьев, опекаемых Амвросием, и мы о нем не ведали. Он продолжал говорить, и мы внимательно, молча, слушали. Тут перешел он к другому рассказу: он и три других товарища его были однажды в Тревирах, и, когда император после полудня глядел на цирковые зрелища, они вышли погулять в парк, начинавшийся за городскими стенами. Прохаживались они парами; он и еще кто-то с ним вместе отделились, а двое других тоже отделились и пошли в другую сторону. Бродя туда-сюда, они набрели на хижину, где жили некие рабы Твои, «нищие духом, каковых есть Царство Небесное», и нашли там книгу, в которой описана была жизнь Антония. Один из них стал ее читать: дивится, загорается, читает и замышляет кинуться в такую жизнь: оставить мирскую службу и служить Тебе. Оба они были агентами тайной полиции. И вот внезапно, полный святой любви и чистого стыда, гневаясь на себя, обратил он глаза на друга и говорит ему: «Скажи, пожалуйста, чего домогаемся мы всем трудом своим? Чего ищем? Ради чего служим? Можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-либо большее, чем на звание «друзей императора»? А тогда всеочно и безопасно? Через сколько опасностей приходишь к еще большей опасности? И когда это будет? А другом Божиим, если захочу, я стану вот сейчас».

Он сказал это, мучаясь рождением новой жизни, и вновь погрузился в книгу: и читал и менялся в сердце своем, которое Ты видел, и отрекался от мира, как вскоре и обнаружилось. Читая, обуреваемый волнением, среди громких стенаний он отделил и определил, что лучше; уже стал Твоим и сказал другу: «Я отбрасываю наши прежние надежды, я решил служить Богу вот с этого часа, вот на этом месте. Не хочешь, не подражай, но не возражай!». Тот ответил, что за такую плату и на такой службе он ему верный товарищ. И оба уже Твои, строили они себе башню за подходящую им цену: «Покинуть все свое и

следовать за Тобой».

Между тем Понтициан со своим спутником прогуливались в другой стороне парка; разыскивая товарищей, пришли они в то самое место, нашли их и стали уговаривать вернуться, потому что день уже угасал. Те рассказали им, какое решение было угодно им принять, каким образом родилось и укрепилось в них такое желание, и попросили, если они отказываются присоединиться, то не докучать им. Понтициан и его спутник остались в своем прежнем состоянии, хотя и оплакивали себя. Почтительно поздравив товарищей, они поручили себя их молитвам, и, влага сердце свое в земной пыли, ушли во дворец, а те, прильнув сердцем к небу, остались в хижине. А были у обоих невесты; услышав о происшедшем, они посвятили Тебе девство свое.

Так говорил Понтициан. Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому: заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишай и язвы. И я увидел и ужаснулся, и некуда было бежать от себя. Я пытался отвести от себя взор свой, а он рассказывал и рассказывал, и Ты вновь ставил меня передо мной и заставлял, не отрываясь, смотреть на себя: погляди на неправду свою и возненавидь ее. Я давно уже знал ее, но притворялся незнающим, скрывал это знание и старался забыть о нем.

И чем горячее любил я тех, о ком слышал, – кто по здравому порыву вручили себя целиком Тебе для исцеления, тем ожесточеннее при сравнении с ними ненавидел себя, ибо много лет моих утекло (почти двенадцать лет) с тех пор, как я девятнадцатилетним юношем, прочитав Цицеронова «Гортензия», воодушевился мудростью, – но не презрел я земного счастья и все откладывал поиски ее, а между тем не только обретение, но одно искание ее предпочтительнее обретенных сокровищ и царств и плотских улад, готовых к услугам нашим. А юношем я был очень жалок, и особенно жалок на пороге юности; я даже просил у Тебя целомудрия и говорил: «Дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас». Я боялся, как бы Ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти: я предпочитал утолить ее, а не угасить. И я шел «кривыми путями» кощунственного суеверия не потому, что в нем был уверен: я как бы предпочитал его другим учениям, но не смиленно исследовал их, а противился им, как враг.

И я давно думал, что, презрев мирские надежды, со дня на день откладывая следовать за Тобой Одним, потому что не являлось мне ничего определенного, куда направил бы я путь свой. И вот пришел день, когда я встал обнаженный перед самим собой, и совесть моя завопила: «Где твое слово? Ты ведь говорил, что не хочешь сбросить бремя суеты, так как истина тебе неведома. И вот она тебе ведома, а оно все еще давит тебя; у них же, освободивших плечи свои, выросли крылья: они не истомились в розысках и десятилетних (а то и больше) размышлений». Так, вне себя от жгучего стыда, угрывался я во время понтицианова рассказа. Беседа окончилась, изложена была причина, приведшая

его к нам, и он ушел к себе, а я – в себя. Чего только не наговорил я себе! Какими мыслями не бичевал душу свою, чтобы она согласилась на мои попытки идти за Тобой! Она сопротивлялась, отрекалась и не извиняла себя. Исчерпаны были и опровергнуты все ее доказательства, но осталась немая тревога: как смерти боялась она, что ее вытянут из русла привычной жизни, в которой она зачахла до смерти.

В этом великом споре во внутреннем дому моем, поднятом с душой своей в самом укромном углу его, – в сердце моем, – кидаюсь я к Алипию и с искаженным лицом, в смятении ума кричу: «Что ж это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи и похищают Царство Небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой и валяемся в плотской грязи! Или потому, что они впереди, стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно?» Не знаю, что я еще говорил в том же роде; в своем волнении я бросился прочь от него, а он, потрясенный, молчал и только глядел на меня: речи мои звучали необычно. О моем душевном состоянии больше говорили лоб, щеки, глаза, цвет лица, звук голоса, чем слова, мною произносимые.

При нашем обиталище находился садик, которым мы пользовались, как и всем домом, потому что владелец дома, нас приютивший, тут не жил. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где жаркой схватке, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее – Ты знал какого, а я нет: я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить; я знал, в каком я зле, и не знал, какое благо уже вот-вот ждет меня. Итак, я отправился в сад и за мной, след в след, Алипий. Его присутствие не нарушало моего уединения. И как бы он оставил меня в таком состоянии? Мы сели как можно дальше от построек. Душа моя глухо стонала, негодяя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что надобно идти к Тебе, об этом кричали «все кости мои» и возносили хвалой до небес.

В мучениях этой нерешительности я делал много жестов, которые люди иногда хотят сделать и не могут, если у них нет соответственных членов, если эти члены скованы, расслаблены усталостью или им что-то мешает. Если я рвал волосы, ударял себя по лбу; сцепив пальцы, обхватывал колено, то я делал это, потому что хотел. Я мог, однако, захотеть и не сделать, откажи мне члены мои в повиновении. Я делал, следовательно, многое в той области, где «хотеть» и «мочь» не равнозначны, и не делал того, что мне было несравненно желаннее, и что я мог сделать, стоило только пожелать, а я уж во всяком случае желал пожелать. Тут ведь возможность сделать и желание сделать равнозначны: пожелать – значит уже сделать. И однако ничего не делалось: тело мое легче повиновалось самым ничтожным желаниям души (двигаться членам, как я хотел), чем душа в исполнении главного желания своего – исполнения, зависящего от одной ее воли.

## IX.

21. Откуда это чудовищное явление? Почему оно? Освети меня милосердием Твоим и позволь спросить об этом; может быть, ответ прозвучит из тайников

наказанья, назначенного людям, из мрака сокрушений сынов Адама. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется; душа приказывает себе – и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться – она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука – это тело. Душа приказывает душе пожелать: она ведь едина и, однако, она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление? И почему оно?

Приказывает, говорю, пожелать та, которая не отдала бы приказа, не будь у нее желания – и не делает по приказу. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, а следовательно, и в приказ. Приказ действен в меру силы желания, и он не выполняется, если нет сильного желания. Воля ведь приказывает желать: она одна и себе тождественна. А значит, приказывает она не от всей полноты; поэтому приказ и не исполняется. Если бы она была целостной, не надо было бы и приказывать: все уже было бы исполнено. А следовательно: одновременно желать и не желать – это не чудовищное явление, а болезнь души; душа не может совсем встать: ее поднимает истина, ее отягощает привычка. И потому в человеке два желания, но ни одно из них не обладает целостностью: в одном есть то, чего недостает другому.

## X.

22. «Да погибнут от лица Твоего», Господи, как они и погибают, «суесловы и соблазнители», которые, заметив в человеке наличие двух желаний, заявили, что есть в нас две души двух природ: одна добрая. другая злая. Злы же на самом деле они, ибо злы эти их мысли, но эти люди могут стать добрыми, если постигнут истину и достигнут согласия с истиной, так что апостол Твой сможет сказать им: «Вы были некогда тьмой, а теперь вы свет в Господе».

Они, однако, желая быть светом не в Господе, а в самих себе, считая, что природа души одинакова с Богом, стали «густой тьмой», ибо в своей страшной дерзости далеко отошли от Тебя, истинного света, «просвещавшего всякого человека, приходящего в этот мир». Подумайте, что вы говорите, покраснейте и «ступайте к Нему», и «просветитесь, и лица ваши не будут краснеть».

Когда я раздумывал над тем, чтобы служить Господу Богу моему (как я давно уже положил себе), хотел этого я и не хотел этого я – и был тем же я. Не вполне хотел и не вполне не хотел. Поэтому я и боролся с собой и разделился в самом себе, но это разделение, происходившее против воли моей, свидетельствовало не о природе другой души, а только о том, что моя собственная наказана. И наказание создал не я, а «грех, обитающий во мне», как кара за грех, совершенный по вольной воле: я ведь был сыном Адама.

23. Если враждующих между собой природ столько же, сколько противящихся одна другой воль, то их будет не две, а множество. Кто-либо, например, рассуждает, идти ли ему на их сборище или в театр, и вот они уже кричат: «Вот две природы: одна, добрая, ведет к нам; другая – злая, уводит прочь. Иначе откуда это колебание между желаниями противоположными?» А я говорю, что оба эти желания злы: и то, которое посыпает к ним, и то, которое отсылает, в

театр. Они верят, что хороша та воля, повинуясь которой идут к ним. Хорошо! А если в ком-нибудь из наших спорят два желания, и он колеблется, идти ли ему в театр, или в нашу церковь, не заколеблются ли и они с ответом? Или они признают то, чего не хотят: в нашу церковь идут, повинуясь доброй воле, как идут в нее те, кто стал причастен таинствам ее и состоит в ней, или же они сочтут, что в одном человеке сталкиваются две злые природы и две злые души: тогда или неправдой окажутся их обычные речи об одной добной и другой злой воле, или же они обратятся к истине и не станут отрицать, что при обсуждении чего-либо одна и та же душа волнуется разными желаниями..

Так мучился я и тосковал, осыпая себя упреками, горшими, чем обычно, барахтался и вертелся в моих путах, чтобы целиком оборвать их: они уже слабо держали меня. И все-таки держали. И Ты, Господи, не давал мне пердохнуть в тайниках сердца моего: в суровом милосердии Своем бичевал Ты меня двойным бичом страха и стыда, чтобы я опять не отступил, чтобы оборвал эту тонкую и слабую, но еще державшуюся веревку, а то она опять наберет силы и свяжет меня еще крепче. Я говорил сам себе: «Пусть это будет вот сейчас, вот сейчас», и с этими словами я уже принимал решение, собирался его осуществить и не осуществлял, но и не скатывался в прежнее: я останавливался, не доходя до конца, и переводил дыхание. И опять я делал попытку, подходил чуть ближе, еще ближе, вот-вот был у цели, ухватывал ее – и не был ближе, и не был у цели, и не ухватывал ее: колебался, умереть ли смертью или жить жизнью. В меня крепко вросло худое, а хорошее не было цепко. И чем ближе придвигалось то мгновение, когда я стану другим, тем больший ужас вселяло оно во мне, но я не отступал назад, не отворачивался; я замер на месте. Алипий, не отходя от меня, молчаливо ожидал, чем кончится мое необычное волнение.

Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало «перед очами сердца моего» всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Чтобы целиком излиться и выговориться, я встал – одиночество, по-моему, подходило больше, чтобы предаться такому плачу, – и отошел подальше от Алипия; даже его присутствие было мне в тягость. В таком состоянии был я тогда, и он это понял; кажется, я ему что-то сказал; в голосе моем уже слышались слезы; я встал, а он в полном оцепенении остался там, где мы сидели. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам: они потоками лились из глаз моих – угодная жертва Тебе. Не этими словами говорил я Тебе, но такова была мысль моя: «Господи, доколе? Доколе, Господи, гнев Твой? Не поминай старых грехов наших!» Я чувствовал, что я в пленау них, и жаловался и вопил: «Опять и опять: «Завтра, завтра!». Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей?»

Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное? Нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдания, я встал,

истолковывая эти слова, как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся: «Пойди, продай все имущество свое, раздай бедным и получишь сокровище на Небесах и приходи, следуй за Мной»; эти слова сразу же обратили его к Тебе.

Взволнованный, вернулся я на то место, где сидел Алипий; я оставил там, уходя, апостольские Послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза: «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в скорбах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было: после этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений.

Я отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом объяснил все Алипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходит; я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочел; я показал, а он продолжил чтение. Я не знал следующего стиха, а следовало вот что: «Слабого в вере примите». Алипий отнес это к себе и открыл мне это. Укрепленный таким наставлением, он без всяких волнений и колебаний принял решение доброе, соответственное его нравам, которые уже с давнего времени были значительно лучше моих. Тут идем мы к матери, сообщаем ей: она в радости. Мы рассказываем, как все произошло; она ликует, торжествует и благословляет Тебя, «Который в силах совершить больше, чем мы просим и разумеем». Она видела, что Ты даровал ей во мне больше, чем она имела обыкновение просить, стеная и обливаясь горькими слезами. Ты обратил меня к Себе: я не искал больше жены, ни на что не надеялся в этом мире. Я крепко стоял в той вере, пребывающим в которой Ты показал ей меня много лет назад: «Ты обратил печаль ее в радость» гораздо большую, чем та, которой она хотела; более ценную и чистую, чем та, которой она ждала от внуков, детей моих по плоти.

## Книга девятая

«Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын слуги Твоей. Ты сломал оковы мои; жертву хвалы воздам я Тебе. Да восхвалит Тебя сердце мое и язык мой; скажут все кости мои: «Господи, кто подобен Тебе». Пусть скажут, а Ты ответь мне «и скажи душе моей: Я спасение твое». Кто я и каков я? Какого зла не было в поступках моих? А если не в поступках, то в словах? А если не в словах, то в моей воле? Ты же, Господи, благостный и милосердный, заглянул в бездну смерти моей и выгреб десницей Своей с самого dna сердца моего груды нечистоты. А это значило отныне – всеми силами не хотеть того, чего хотел я, и хотеть того, чего хотел Ты. Но где же находилась годы и годы, из какой глубокой и тайной пропасти вызвал Ты в одно мгновение свободную волю мою, – да подставлю шею свою под удобное ярмо Твое и плечи под легкую ношу Твою, Христе Иисусе, «Помощник мой и мой Искупитель»? Как сладостно стало мне вдруг лишиться сладостных пустяков: раньше я боялся упустить их, теперь

радовался отпустить. Ты прогнал их от меня. Ты, истинная и наивысшая Сладость, прогнал и вошел на их место. Ты, Который сладостнее всякого наслаждения, только не для плоти и крови, светлее всякого света, но сокровенное всякой тайны, выше всяких почестей – но не для тех, кто возвышается сам. Душа моя стала свободна от грызущих забот: не надо просить и кланяться, искать заработка, валяться в грязи, расчесывая чесотку похоти. Я лепетал перед Тобой, Свет мой, богатство мое и спасение, Господи Боже мой.

Я решил пред очами Твоими не порывать резко со своей службой, а тихонько отойти от этой работы языком на торгу болтовней: пусть юноши, помышляющие не о законе Твоем, не о мире Твоем, но о лжи, безумии и схватках на форуме, покупают оружие своему неистовству не у меня. До виноградных каникул оставалось, кстати, совсем мало дней; я решил перетерпеть эти дни и уйти, как обычно, в отпуск, но не возвращаться больше продажным рабом: я был Тобой выкуплен.

А тут еще в это самое лето от чрезмерной работы в школе легкие мои начали сдавать: дыхание стало затруднено; боли в груди свидетельствовали о ее недуге; голос стал глухим и прерывистым. Сначала это меня очень встревожило: приходилось по необходимости сложить бремя учительства или, во всяком случае, прервать работу пока, может быть, вылечусь и выздоровею. Когда же овладело мной и укрепилось во всей полноте желание «освободиться и видеть, ибо Ты – Господь», – Ты знаешь, Боже мой, я даже обрадовался, что у меня есть справедливое извинение, которое должно смягчить обиду людей, не желавших из-за своих милых детей помиловать меня. Полный такой радости, я перетерпел этот промежуток времени до конца – было это, кажется, дней двадцать – претерпевались они с натугой: во мне уже не было того запала, с которым я обычно вел эти трудные занятия, и не приди на его смену терпение, они согнули бы меня под своим бременем.

Кто-нибудь из рабов Твоих, моих братьев, скажет, что я согрешил, позволив себе хоть один час остаться на кафедре лжи в то время, как сердце мое полно было желанием служить Тебе. Не буду спорить. Но Ты, Всемилостивый Господа, разве не простил мне этот грех и не отпустил его вместе с другими, страшными и смерtnыми, омыв меня святой водой!

И вот пришел день, когда я на деле освободился от преподавания риторики, от которого уже давно освобожден был в мыслях. Ты убрал язык мой оттуда, откуда еще раньше убрал сердце мое, и я благословлял Тебя и радовался, уезжая в деревню вместе со всеми своими.

По прошествии каникул я отказался от своего места: пусть медиоланцы поищут для своих школьников другого продавца слов; я определил себя на службу Тебе и не годен был для учительства по причине затрудненного дыхания и болей в груди. Я изложил в письмах Твоему предстоятелю, Амвросию, мужу святому, прежние заблуждения мои и теперешнее желание свое и попросил указать, какие из Книг Твоих предпочтительнее всего мне читать, чтобы подготовить себя к принятию такой великой благодати. Он велел читать пророка Исаию,

думаю, потому, что яснее других говорит он о Евангелии и призвании язычников. Не поняв и первой главы его и решив, что и вся книга темна, я отложил вторичное ее чтение до тех пор, пока не освоюсь с языком Писания.

И вот пришло время записаться на Крещение; оставив деревню, вернулись мы в Медиолан. Алипию хотелось возродиться в Тебе вместе со мной; он уже облекся в смиление, подобающее Твоим таинствам. Мужественный укротитель тела, он отважился на поступок необычный: прошел босиком по ледяной земле Италии. Мы взяли с собой и Адеодата, сына от плоти моей и от греха моего. Он был прекрасным созданием Твоим: было ему лет пятнадцать, а он превосходил умом многих важных и ученых мужей. Исповедую Тебе дары Твои, Господи Боже мой, Создатель всего, властный преобразить безобразие наше: от меня этот мальчик ничего не получил, я только запятнал его своим проступком. А что он воспитан был в учении Твоем, это внушил нам Ты и никто другой; исповедую Тебе дары Твои.

Есть у меня книга, озаглавленная «Учитель»; это он там разговаривает со мной. Ты знаешь, что все мысли, вложенные там в уста моего собеседника, принадлежат ему, шестнадцатилетнему. Много еще более удивительного обнаруживал я в нем. Меня пугала такая даровитость. Какой мастер, кроме Тебя, мог бы сделать такое чудо? Ты рано прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него: я не боюсь ни за его отчество, ни за его юность – вообще не боюсь за него. Мы взяли его в товарищи, сверстника нашего по благодати Твоей, чтобы наставить в учении Твоем. Мы крестились, и бежала от нас тревога за свою прежнюю жизнь. Я не мог в те дни насытиться дивной сладостью, созерцая глубину Твоего намерения спасти род человеческий. Сколько плакал я над Твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованный голосами, сладостно звучавшими в Твоей Церкви. Звуки эти вливались в уши мои, истина отцеживалась в сердце мое, я был охвачен благоговением; слезы бежали, и хорошо мне было с ними.

«Ты, Кто позволяешь жить вместе людям единодушным», ввел в наше общество Эводия, молодого человека из нашего муниципия. Он служил в тайной полиции, раньше нас обратился к Тебе, крестился и, оставив мирскую службу, вооружился для Твоей. Мы были вместе и вместе собирались пребыть в нашем святом решении. Мы обдумывали, в каком месте лучше нам служить Тебе, и решили все разом вернуться в Африку. Когда мы были в Остии на Тибре, мать скончалась.

Я многое пропускаю, потому что очень тороплюсь. Прими, Господи, исповедь мою и благодарность, пусть и безмолвную, за бесчисленные дела Твои. Но я не пройду мимо того, что родилось в душе моей к этой слуге Твоей, которая родила меня телом для этого преходящего света, и сердцем – для вечного. Я буду говорить о Твоих дарах ей, не о ее собственных качествах. Она не сама себя создала и не сама себя воспитала: Ты сотворил ее, и ни отец, ни мать не знали, какой она будет. Ее наставила в страхе Твоем розга Христа Твоего, руководство Единого Твоего в семье верной, члены которой были добрыми

членами Церкви Твоей. За старательное воспитание свое она не столь хвалила мать свою, сколь некую престарелую служанку, которая носила еще отца ее на спине, как обычно носят малышей девочки постарше. За это, за ее старость и чистые нравы пользовалась она в христианском доме почетом от хозяев. Потому и поручена ей была забота о хозяйских дочерях, и она старательно несла ее. Полная святой строгости и неумолимая в наказаниях, когда они требовались, была она в наставлениях разумна и рассудительна. Она, например, разрешала девочкам, невзирая на жгучую жажду, пить даже воду только во время очень умеренного обеда за родительским столом. Она остерегала их от худой привычки разумным словом: «Сейчас вы пьете воду, потому что не распоряжаетесь вином, а когда в мужнем доме станете хозяйками погребов и кладовок, вода вам может опротиветь, а привычка к питью останется в силе». Таким образом, разумно поучая и властно приказывая, обуздывала она жадность нежного возраста и даже жажду у девочек удерживала в границах умеренности: пусть не прельщает их то, что непристойно.

И, однако, незаметно подползла к матери моей, как рассказывала мне, сыну, слуга Твоя – подползла страсть к вину. Родители обычно приказывали ей, как девушкедержанной, доставать вино из бочки. Опустив туда через верхнее отверстие сосуд, она прежде чем перелить это чистое вино в бутылку, краем губ чуть-чуть отхлебывала его: больше она не могла, так как вино ей не нравилось. И делала она это вовсе не по склонности к пьянству, а от избытка, кипящих сил, ищущих выхода в мимолетных проказах; их обычно подавляет в отроческих душах глубокое уважение к старшим.

И вот, прибавляя к этой ежедневной капле ежедневно по капле – а « тот, кто пренебрегает малым, постепенно падает» – она докатилась до того, что с жадностью почти полными кубками стала поглощать неразбавленное вино. Где была тогда проницательная старушка и ее неумолимые запреты? Разве что-нибудь может одолеть тайную болезнь нашу, если Ты, Господи, не бодрствуешь над нами со Своим врачеванием? Нет отца, матери и воспитателей, но присутствуешь Ты, Который нас создал. Который зовешь нас. Который даже через... людей делаешь доброе, чтобы спасти душу. Что же сделал Ты тогда, Боже мой? Чем стал лечить? Чем исцелил? Не извлек ли Ты грубое и острое бранное слово из чужих уст, как врачебный нож, вынутый из неведомых запасов Твоих, и не отрезал ли одним ударом все гнилое? Служанка, ходившая обычно вместе с ней за вином, споря, как это бывает, с младшей хозяйкой с глазу на глаз, упрекнула ее в этом проступке и с едкой издевкой назвала «горькой пьяницей». Уязвленная этим уколом, она оглянулась на свою скверну, тотчас же осудила ее и от нее избавилась.

Так друзья, льстя, развращают, а враги, браня, обычно исправляют. Ты, однако, воздаешь им не за то, что делаешь через них, а за их намерения. Она, рассердившись, хотела не излечить младшую хозяйку, а вывести ее из себя – тайком, потому ли, что так уже подошло и с местом и со временем ссоры, или потому, что сама она боялась попасть в беду за поздний донос. Ты же, Господи, правящий всем, что есть на небесах и на земле, обращающий вспять для целей

Своих водные пучины и подчиняющий Себе буйный поток времени. Ты безумием одной души исцелил другую. Если кто словом своим исправил того, кого он хотел исправить, пусть он, после моего рассказа, не приписывает этого исправления своим силам.

Воспитанная в целомудрии и воздержании, подчиняясь родителям скорее из послушания Тебе, чем Тебе из послушания родителям, она, войдя в брачный возраст, вручена была мужу, служила ему, как господину, и старалась приобрести его для Тебя. О Тебе говорила ему вся стать ее, делавшая ее прекрасной для мужа: он ее уважал, любил и удивлялся ей. Она спокойно переносила его измены; никогда по этому поводу не было у нее с мужем ссор. Она ожидала, что Ты умилосердишься над ним, и, поверив в Тебя, он станет целомудрен. А кроме того был он человеком чрезвычайной доброты и неистовой гневливости. И она знала, что не надо противоречить разгневанному мужу не только делом, но даже словом. Когда же она видела, что он отбушевал и успокоился, она объясняла ему свой поступок; бывало ведь, что он кипятился без толку. У многих женщин, мужья которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображенены синяками от пощечин; в дружеской беседе обвиняли они своих мужей, а она их язык; будто в шутку давала она им серьезный совет: с той минуты, как они услышали чтение брачного контракта, должны они считать его документом, превратившим их в служанок; памятая о своем положении, не должны они заноситься перед своими господами. Зная, с каким лютым мужем приходится ей жить, они удивлялись: не слыхано и не видано было, чтобы Патриций побил жену или чтобы они повздорили и хоть на один день рассорились. Они дружески расспрашивали ее, в чем причина; она учila их своему обычаю, о котором я упомянул выше. Усвоившие его – благодарили, не усвоившие – терпели поношение.

Нашептывания дурных служанок сначала восстановили против нее свекровь, но мать моя услужливостью, неизменным терпением и кротостью одержала над ней такую победу, что та сама пожаловалась сыну на сплетни служанок, нарушавших в доме мир между ней и невесткой, и потребовала для них наказания. После того, как он, слушаясь матери, заботясь о порядке среди рабов и о согласии в семье, высек выданных по усмотрению выдавшей, она пригрозила, что на такую же награду от нее должна рассчитывать каждая, если, думая угодить, станет ей наговаривать на невестку. Никто уже не осмеливался, и они зажили в достопамятном сладостном дружелюбии.

«Господи, милующий меня!» Ты послал этой добреj служанке Твоей, в чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась – где могла – умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные, многочисленные и горькие, попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующей приятельнице изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал, по горькому опыту, что бесчисленное

множество людей (тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза) не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а, наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя; Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца.

И вот, наконец, приобрела она Тебе своего мужа напоследок дней его; от него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него, нехристианина. Была она слугой служителей Твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней Тебя, ибо чувствовали присутствие Твое в сердце ее: о нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она «была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердна была к добрым делам». Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с Твоего пути.

И напоследок – Ты позволяешь ведь по милости Своей называться нам служителями Твоими – о всех нас, живших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать Твоего Крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями.

Уже навис день исхода ее из этой жизни; этот день знал Ты, мы о нем не ведали. Случилось – думаю, тайной Твоей заботой, – что мы с ней остались вдвоем; опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили в Остии. Усталые от долгого путешествия, наконец в одиночестве, набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем и, «забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами».

Ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать оказала мне: «Сын! что до меня, то в этой жизни мне уже все не в радость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и зачем здесь быть; с мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни: раньше чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее: дал увидеть тебя Его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?»

Не помню, что я ей ответил, но не прошло и пяти дней или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, но она скоро пришла в себя, увидела меня и брата, стоявших тут же, и сказала, словно ища что-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу. Положите это тело, где придется; не беспокойтесь о нем; прошу об одном: поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она смогла словами, она умолкла, страдая от усилившейся болезни.

Я же, думая о дарах Твоих, Боже Невидимый, которые Ты вкладываешь в сердца верных Твоих, – они дают дивную жатву – радовался и благодарил Тебя:

я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и подготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела (человеческой душе трудно отрешиться от земного) еще добавки к такому счастью: пусть бы люди вспоминали: «Вот как ей довелось: вернулась из заморского путешествия и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом». Я не знал, когда по совершенной благости Твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такою свою мать, хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала: «Что мне здесь делать?», не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что, когда мы были в Остии, она однажды доверчиво, как мать, разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было, они же пришли в изумление перед мужеством женщины (Ты ей дал его) и спросили, неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города. «Ничто не далеко от Бога, — ответила она, — и нечего бояться, что при конце мира Он не вспомнит, где меня воскресить».

Итак, на девятый день болезни своей, на пятьдесят шестом году жизни своей и на тридцать третьем моем, эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела.

Я закрыл ей глаза, и великая печаль влилась в сердце мое и захотела излиться в слезах. Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо.

Что же так тяжко болело внутри меня? Свежая рана оттого, что внезапно оборвалась привычная, такая сладостная и милая, совместная жизнь? Мне отрадно было вспомнить, что в этой последней болезни, ласково благодаря меня за мои услуги, называла она меня добрым сыном и с большой любовью вспоминала, что никогда не слышала она от меня брошенного ей грубого или оскорбительного слова. А разве, Боже мой. Творец наш, разве можно сравнивать мое почтение к ней с ее служением мне? Лишился я в ней великой утешительницы, ранена была душа моя, и словно разодрана жизнь, ставшая единой; ее жизнь и моя слились ведь в одно.

Тело было вынесено, мы пошли и вернулись без слез. При молитвах, которые излили мы Тебе, когда предложена была за нее Искупительная Жертва, и, по обычаю тех мест, тело до положения в гроб лежало около него, даже при этих молитвах я не заплакал. Весь день втайне тяжко скорбел я и в душевном смятении, как мог, просил Тебя исцелить боль мою. Ты не делал этого, думаю, чтобы хоть на этом одном примере запечатлеть в памяти моей, как крепки цепи привычки даже для души, уже не питающейся ложью.

Затем я заснул, проснулся; нашел, что боль моя значительно смягчилась. А затем постепенно вернулось прежнее чувство: вспомнил слугу Твою, ее благочестие, ее святую ласковость и снисходительность, которой вдруг лишился, и захотелось мне плакать «пред лицом Твоим» о ней и для нее, о себе

и для себя. Я дал волю слезам, которые сдерживал: пусть льются, сколько угодно. Словно на мягкому ложе успокоилось в них сердце мое, ибо уши Твои слушали плач мой, его не слышал человек, который мог бы пренебрежительно истолковать его. И теперь, Господи, Тебе пишу я эту исповедь. Пусть читает, кто хочет, и истолковывает, как хочет, и если найдет, что я согрешил, плача краткий час над своей матерью, над матерью, временно умершей в очах моих и долгие годы плакавшей надо мной, чтобы мне жить в очах Твоих, – пусть он смеется надо мной, но если есть в нем великкая любовь, пусть заплачет о грехах моих перед Тобой, Отцом всех братьев во Христе Твоем.

Когда сердце мое излечилось от этой раны (по поводу ее можно изображать плотские слабости), я стал лить пред Тобой, Боже наш, за эту рабу Твою совсем другие слезы; те, которые текут, когда душа потрясена созерцанием мытарств, ожидающих всякую душу, умирающую в Адаме. И хотя, ожив во Христе, она, еще не разрешившись от тела, жила так, что прославлялось Имя Твое в ее вере и нравах, я все же не осмеливаюсь сказать, что с того времени, как Ты возродил ее Крещением, не вышло из ее уст ни единого слова, противного заповедям Твоим.

Итак, «хвала моя и жизнь моя», «Боже сердца моего», забыв на короткое время о добрых делах ее, за которые в радости воздаю Тебе благодарность, теперь умоляю Тебя за грехи матери моей: услыши меня во Имя Излечившего раны наши, Висевшего на древе и Сидящего одесную Тебя, «дабы ходатайствовать за нас».

Я знаю, что она была милосердна и от сердца прощала «долги должникам своим», прости и Ты ей грехи ее, если в чем-то погрешила она за столько лет после Крещения. Прости ей, Господи, молю Тебя, прости ей, «не входи с нею в суд»; «милость возносится над судом»; слова Твои – истинны, и Ты обещал милость милостивым. А быть такими – это Твой дар; «и Ты, кого помиловать, помилуешь, и кого пожалеть, пожалеешь».

Я думаю. Ты уже сделал то, о чем я прошу Тебя, но «одобри, Господи, добровольную жертву уст моих». Перед самым днем разрешения своего она ведь думала не о пышных похоронах, не домогалась, чтобы ее положили в благовония или воздвигли особый памятник, не заботилась о погребении на родине. Таких поручений она нам не оставила, а хотела только поминания у алтаря Твоего, которому служила не пропуская ни одного дня, ибо знала, что там подается Святая Жертва, которой «уничищено рукописание, бывшее против нас», и одержана победа над врагом. Он считает проступки наши; ищет, в чем бы обвинить, и ничего не находит в Том, в Кому мы победили. Кто вернет Ему кровь невинную? Кто заплатит цену, которой Он нас купил, чтобы отобрать от врага?

К этому Искупительному Таинству прикрепилась верой душа слуги Твоей. Да не отторгнет ее никто из-под Твоего покрова. Да не проберутся силой или хитростью лев или змей: она не скажет, что ничего им не должна, боясь, как бы не уличил и не схватил ее лукавый обвинитель, но ответит, что отпущены ей

грехи Тем, Кому никто не отдаст за то, что Он отдал нам, не будучи нам должен. Да пребудет она в мире со своим мужем, до которого и после которого ни за кем не была замужем, которому служила «принося плод в терпении», чтобы приобрести его Тебе. И внуши, Господи Боже мой, внуши рабам Твоим, братьям моим, сынам Твоим, господам моим, которым служу словом, сердцем и письмом, чтобы всякий раз, читая это, поминали они у алтаря Твоего Монику, слугу Твою, вместе с Патрицием, некогда супругом ее, через плоть которых ввел Ты меня в эту жизнь, а как, я не знаю. Пусть с любовью помянут они их, родителей моих, на этом преходящем свете, и моих братьев в Тебе, Отец пребывающих в Православной Церкви, моих сограждан в Вечном Иерусалиме, о котором вздыхает в странствии своем, с начала его и до окончания, народ Твой. И пусть молитвами многих полнее будет исполнена последняя ее просьба ко мне, – через мою исповедь, а не только через одни мои молитвы.

## Книга десятая

«Да узнаю Тебя – Ты меня знаешь – да узнаю Тебя так, как Ты знаешь меня». Сила души моей, вниди в нее, согласуй с Собой, да пребудет она Твоим достоянием «без пятна и морщины». В этом надежда моя, потому об этом и говорю и этой надеждой радуюсь, если радуюсь здравой радостью. Остальные блага жизни стоят тем меньше слез, чем больше о них плачут, и стоят тем больше слез, чем меньше о них плачут. «Ты же возлюбил правду», и тот, «кто творит правду, приходит к свету». Я хочу творить правду в сердце моем пред лицом Твоим в исповеди, и в писании моем пред лицом многих свидетелей.

Что могло бы укрыться во мне от Тебя, Господи, если бы я и не захотел исповедаться Тебе, «очам Которого обнажена бездна человеческой совести»? Ты скрылся бы от меня, не я от Тебя. А теперь, когда стенания мои свидетельствуют, что стал я сам себе неугоден. Ты, свет и услада моя, Ты позволяешь любить Тебя и тосковать о Тебе: да покраснею от стыда и отброшу себя, да изберу Тебя и только по Твоей благости стану угоден Тебе и себе. Каков бы я ни был, я весь перед Тобою, Господи. И я сказал, какого плода ожидаю я от своей исповеди Тебе, принесенной не голосом плоти и ее словами, а словами души и воплем размышлений, который слышало ухо Твое. Когда я плох, то вот вся моя исповедь Тебе: я сам себе неугоден; когда я хороший, – то вот вся моя исповедь Тебе: я не себе приписываю это, ибо Ты, Господи, «благословляешь праведного», но еще раньше его, грешника, Ты делаешь праведным. Исповедь моя свершается перед лицом Твоим, Боже мой, молчаливо и немолчно. Молчит язык мой и вопиет сердце. Нет ни одного верного слова, которое я бы сказал людям, и которого Ты не услышал бы раньше от меня, и ничего верного не слышишь Ты от меня, чего раньше Ты не сказал бы мне.

Что же мне до людей и зачем слышать им исповедь мою, будто они сами излечат недуги мои? Эта порода ретива разузнавать про чужую жизнь и ленива исправлять свою. Зачем ищут услышать от меня, каков я, те, кто не желает услышать от Тебя, каковы они? И откуда те, кто слышит от меня самого обо мне

самом, узнают, правду ли я говорю, когда ни один человек не знает, что «делается в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем»? Если же они услышат о самих себе от Тебя, они не смогут сказать: «Господь лжет». А услышать от Тебя о себе – не значит ли узнать себя? А разве не солжет тот, кто, узнав себя, скажет: «это неправда»? Но так как «любовь всему верит», по крайней мере, среди тех, кого она связала воедино, то я, Господи, исповедуюсь Тебе так, чтобы слышали люди, которым я не могу доказать, правдива ли исповедь моя; мне, однако, верят те, чьи уши открыла для меня любовь.

Изъясни же мне, Врачеватель души моей, ради чего я это делаю. Исповедь моих прошедших грехов (Ты отпустил и покрыл их, чтобы я был счастлив в Тебе; Ты изменил душу мою верой и таинством), эта исповедь будит тех, кто ее читает и слушает; она не дает сердцу застыть в отчаянии и сказать: «Я не могу»; заставляет бодрствовать, полагаясь на милосердие Твое и благодать Твою, которой силен всякий немощный, осознавший через нее немощь свою. Хорошие люди с удовольствием слушают о бедах, пережитых другими, и радуются не бедам, а тому, что они были, а теперь их нет. Какой же пользы ради, Господи, Кому ежедневно исповедуется совесть моя, в надежде больше на милосердие Твое, чем на свою невинность, какой пользы ради, спрашиваю я, исповедоваться мне в этих писаниях пред лицом Твоим еще и людям, рассказывая, каков я сейчас, а не каков был прежде. Пользу от исповеди в прежнем я увидел и о ней сказал. Многие, однако, кто меня знает и кто меня не знает, но слышал что-то от меня или обо мне, желают знать, каков я сейчас, вот в это самое время, когда я пишу исповедь свою. Ухом своим они не могут приникнуть к моему сердцу, где я таков, каков есть. Поэтому они и хотят услышать мою исповедь о внутреннем, недоступном ни глазу их, ни уху, ни уму; они хотят мне верить, иначе разве узнают они меня? Любовь, которая делает их хорошими людьми, говорит им, что я не солгу в своей исповеди, и в них она сама верит мне.

Но какой пользы ради хотят они этого? Желают ли поздравить меня, услышав, насколько я приблизился к Тебе по благости Твоей, и помолиться за меня, услышав, насколько я замешкался под беременем своим? Я покажу себя таким людям. Не малая уже польза в том, Господи Боже мой, что «многие вознесут Тебе благодарность за нас», и многие попросят Тебя за нас. Да полюбит во мне братская душа то, что Ты учишь любить, и поскорбит о том, о чем Ты учишь скорбеть. Пусть почувствует это душа братская, не посторонняя, не «душа сынов чужих, чьи уста изрекают ложь, чья десница – десница неправды», а душа брата, который, одобряя меня, за меня радуется, а порицая, за меня огорчается, ибо одобряет ли он меня, порицает ли, – он меня любит. Я покажу себя таким людям: пусть радуются о добром во мне, сокрушаются о злом. Доброе во мне устроено Тобою, это дар Твой; злое во мне – от преступков моих, осужденных Тобою. Пусть взирают на одно с радостью, а на другое с сокрушением, пусть из братских сердец, как из кадильниц, возносятся пред лицо Твое гимны и рыдания. Ты же, Господи, услаждаясь ароматом святого храма Твоего, «умилосердись надо мною по великому милосердию Твоему ради

И имени Твоего», и так как Ты никогда не оставляешь начинаний Своих, то уничтожь до конца несовершенство мое.

Вот в чем польза от исповеди моей, не в повести о том, каким я был, а каков я сейчас: да исповедаю я это не только пред Тобой в тайном «кликовании и трепете», в тайной скорби и надежде, но и перед верующими сынами человеческими; они участвуют в радости моей и делят смертную долю мою; они мои сограждане и спутники в земном странствии, все равно, предшествовали они мне, последуют ли за мною или сопровождают меня в моей жизни. Это рабы Твои, братья мои, которых Ты захотел сделать сыновьями Своими и моими господами, служить которым приказал мне, если я хочу жить с Тобой и о Тебе. Если бы Сын Твой наставлял только словами, этого было бы мало, но Он указал путь Своими делами. И я иду, по нему, действуя словом и делом, действуя «под кровом крыл Твоих», и в опасности великой находился бы я, не укройся душа моя под крылами Твоими и не будь Тебе известна немощь моя. Я малое дитя, но вечно жив Отец мой и надежен Хранитель мой; он родил меня и хранит меня. В Тебе все мои блага. Ты всемогущ. Ты всегда был со мной, был еще до того, как я пришел к Тебе. И я расскажу тем людям, которым я служу по повелению Твоему, не о том, каким я был, но каков уже я и каков еще до сих пор. Но «я не сужу о себе сам»: пусть, памятуя это, меня и слушают.

Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя: тут сомнений нет. Ты поразил сердце мое словом Твоим, и я полюбил Тебя; и небо и земля и все, что на них – вот они со всех сторон твердят мне, чтобы я любил Тебя, и не перестают твердить об этом всем людям, «дабы оказались они неизвинительны». Ты глубже «пожалеешь того, над кем сжалившись, и окажешь милосердие тому, над кем умилосердишься» – иначе глухим возглашали бы и небо и земля хвалы Твои. Что же, любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, – не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и, некие объятия – когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека – там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего.

А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: «это не я»; и все, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: «мы не бог твой; ищи над нами». Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды: «мы не бог, которого ты ищешь», – говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «скажите мне о Боге моем – вы ведь не бог, – скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали громким голосом: «Творец наш, вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопросом; их ответом – их красота. .

Тогда я обратился к себе и сказал: «Ты кто?» И ответил: «Человек». Вот у меня тело и душа, готовые служить мне; одно находится во внешнем мире, другая внутри меня. У кого из них спрашивать мне о Боге моем, о Котором я уже спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и до самого неба, куда только мог послать за вестями лучи глаз своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все телесные вестники возвестили душе моей, судье и председательнице, об ответах неба, земли и всего, что на них; они гласили: «мы не боги; Творец наш, вот Он». Внутреннему человеку сообщил об этом состоящий у него в услужении внешний; я, внутренний, узнал об этом, — я, я душа, через свои телесные чувства. Я спросил всю вселенную о Боге моем, и она ответила мне: «я не бог; Творец наш, вот кто Он».

Итак, что же я люблю, любя Бога? Кто Он, пребывающий над вершинами души моей? Этой душой моей поднимусь к Нему. Я пропускаю ту силу, которая соединяет меня с телом и наполняет жизнью его состав. Не эта сила поможет мне найти Бога моего, иначе Его нашли бы и лошадь и мул, у которых нет разума, но есть эта самая сила, оживляющая и их тела. Есть другая сила, которой я оживляю не только мою плоть, но и сообщаю ей чувствительность. Ее создал Господь, повелев глазу не слышать, но видеть, а уху не видеть, но слышать, определив каждому чувству в отдельности его место и его обязанности: разное выполняю я с их помощью, оставаясь единым, я — разум. Пропускаю и эту силу мою; и она есть у лошади и мула: и у них тело обладает внешними чувствами.

Итак, пропускаю и эту силу в природе моей; постепенно поднимаясь к Тому, Кто создал меня, прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. Там же сложены и все наши мысли, преувеличившие, преуменьшившие и, вообще, как-то изменившие то, о чем сообщали наши внешние чувства. Туда передано и там спрятано все, что забвением еще не поглощено и не погребено.

Велика сила памяти; не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пестрая, многообразная, бесконечной неизмеримости!

Широки поля моей памяти, ее бесчисленные пещеры и ущелья полны неисчислимого, бесчисленного разнообразия: вот образы всяких тел, вот подлинники, с которыми знакомят нас науки, вот какие-то отметины и заметки, оставленные душевными состояниями, — хотя душа их сейчас и не переживает, но они хранятся в памяти, ибо в памяти есть все, что только было в душе. Я пробегаю и проношуясь повсюду, проникаю даже вглубь, насколько могу, — и нигде нет предела; такова сила памяти, такова сила жизни в человеке, живущем для смерти. Что же делать мне, Боже мой, истинная Жизнь моя? Пренебрегу этой силой моей, которая называется памятью, пренебрегу ею, чтобы устремиться к Тебе, сладостный Свет мой. Что скажешь Ты мне? Я поднимаюсь

к Тебе душой своей – Ты пребываешь ведь надо мной – и пренебрегу этой силой, которая называется памятью; я хочу прикоснуться к Тебе там, где Ты доступен прикосновению, прильнуть к Тебе там, где возможно прильнуть. Память есть и у животных, и у птиц, иначе они не находили бы своих логовищ, гнезд и многоного другого, им привычного; привыкнуть же они могли только благодаря памяти. Я пренебрегу памятью, чтобы прикоснуться к Тому, Кто отделил меня от четвероногих и сделал мудрее небесных птиц. Пренебрегу памятью, чтобы найти Тебя. Где? Истинно добный, верный и сладостный, где найти Тебя? Если не найду Тебя в моей памяти, значит, я не помню Тебя. А как же я найду Тебя, если я Тебя не помню?

Как же искать мне Тебя, Господи? Когда я ищу Тебя, Боже мой, я ищу счастливой жизни. Буду искать Тебя, чтобы жила душа моя! Душа моя живит тело, а душу мою живишь Ты. Как же искать мне счастливую жизнь? Ее нет у меня, пока я не могу сказать: «Довольно! Вот она». Разве не все хотят счастливой жизни? Никого ведь нет, кто бы не хотел ее! Где же о ней узнали, чтобы так ее хотеть? Где увидели, чтобы полюбить? Не знаю, как, но мы ею, конечно, обладаем, по-разному, правда; один счастлив тогда, когда уже живет счастливой жизнью; другие счастливы надеждой на нее – последние счастливы в меньшей мере, чем те, кто счастлив на самом деле, но все же им лучше, чем тем, кто и не живет счастливой жизнью и не надеется на нее. И все-таки, не знай и они каким-то образом о ней, они бы так не хотели быть счастливыми; а что они хотят, это несомненно. Не знаю, каким образом они узнали о ней, и не знаю, какие у них о ней сведения.

Где же и когда знал я свою счастливую жизнь, чтобы вспоминать о ней, любить ее и тосковать о ней? И не только я один или вместе с немногими; решительно все мы хотим быть счастливы. Если бы мы определенно не знали о ней, мы бы так определенно и не хотели ее. Что же это такое? Что это? Если спросить у двух человек, хотят ли они служить на военной службе, то, возможно, один ответил бы «да», а другой «нет»; но если у них спросите, хотят ли они быть счастливы, то оба сразу же, не колеблясь, ответили бы «да». Именно ради того, чтобы быть счастливыми, один и хотел поступить на военную службу; именно ради этого другий от нее отказывался. Ни потому ли, что у одного человека радость в одном, а для другого в другом? Все, однако, согласны в том, что хотят быть счастливы, и если их спросить, в чем они согласны, они ответят, что хотят радоваться, и эту самую радость и называют счастливой жизнью. И хотя один гонится за одним, а другой за другим, но все стараются прийти к одному: радоваться. А так как никто не может сказать без собственного опыта, что это такое, то мы, слыша слова «счастливая жизнь», узнаем, что это такое, найдя сведения о ней в своей памяти.

Да будет далека, Господи, да будет далека от сердца раба Твоего, который Тебе исповедуется, да будет далека мысль считать себя счастливым, какой бы радостью я ни радовался. Есть радость, которой не дано нечестивцам, но только тем, кто чтит Тебя бескорыстно: их радость – Ты сам. И настоящая счастливая жизнь в том, чтобы радоваться Тобой, от Тебя, ради Тебя: это настоящая

счастливая жизнь, и другой нет. Те, кто полагает ее в другом, гонятся за другой радостью – не настоящей. И у них, однако, есть какое-то представление о радости, от которого они не отворачиваются в своем желании счастья.

Нельзя, следовательно, утверждать, что все хотят быть счастливы: ведь те, кто не хочет радоваться о Тебе – только в этом и есть счастливая жизнь, – не хотят на самом деле счастливой жизни. Или все хотят ее, но «плоть желает противного духу, а дух противного плоти, так что люди не делают того, что хотят» и поэтому увязают в том, что им по силам, и этим удовлетворяются: у них нет настоящего желания получить силы на то, на что у них не хватает сил. Если я спрошу у всех, в чем они предпочитают найти радость: в истине или во лжи, то все так же не усомнятся ответить, что в истине, как не усомнится сказать, что хотят быть счастливыми, но ведь счастливая жизнь – это радость, даруемая истиной, т.е. Тобой, Господи, ибо Ты «Истина, Просвещение мое, Спасение лица моего, Бог мой». Этой счастливой жизни все хотят, этой жизни, единственно счастливой, все хотят; радости от истины все хотят. Многих знаю я, кто охотно обманывает, и никого, кто хотел бы обмануться. Где же узнали они об этой счастливой жизни, как не там, где узнали и об истине? Они и ее любят, так как не хотят обманываться, но, любя счастливую жизнь – она ведь не что иное, как радость, даруемая истиной, – они, конечно, любят также истину. Они не любили бы ее, если бы у них в памяти не было каких-то сведений о ней. Почему же они ей не радуются? Почему не счастливы? Потому, что другое сильнее захватило их, и оно скорее сделает их несчастными, чем осчастливит слабая память о том, что сделало бы счастливыми: «пока еще мало света в людях»; пусть они ходят, пусть ходят, «чтобы тьма не охватила их».

Почему же «истина порождает ненависть» и почему для них стал врагом человек Твой, проповедующий истину? Они ведь любят счастливую жизнь, а она не что иное, как радость об истине? Не потому ли, что истину так любят, что, любя что-то другое, люди хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной? И так как они не хотят обманываться, то и не хотят, чтобы их изобличили в том, что они обманываются. Итак, они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной, они любят ее свет и ненавидят ее укоры. Не желая обмануться и желая обманывать, они любят ее, когда она показывается сама, и ненавидят, когда она показывает их самих. За это и получат они воздаяние: они не хотят быть раскрытыми ею – она раскроет их против их желания, но сама не откроется им.

Да, да, да: такова человеческая душа; слепая, вялая, мерзкая и непотребная, она хочет спрятаться, но не хочет, чтобы от нее что-то пряталось. Воздается же ей наоборот: она от истины спрятаться не может, истина же от нее прячется. И все же, даже так, в нищете своей, предпочитает она радоваться истине, а не лжи. Счастлива же будет она, когда, без всякой помехи, будет радоваться самой, единой истине, началу всего истинного.

Вот сколько бродил я по своей памяти, ища Тебя, Господи, и не нашел Тебя вне ее. И ничего не нашел, чего бы не помнил о Тебе с того дня, как узнал Тебя. С

того же дня, как знал Тебя, я не забывал Тебя. Где нашел я истину, там нашел я и Бога моего, самое Истину, и с того дня, как узнал ее, я ее не забывал. С того дня, как я узнал. Тебя, Ты пребываешь в памяти моей, и там нахожу я Тебя, когда о Тебе вспоминаю и радуюсь в Тебе. Это святая отрада моя, которой Ты милостиво одарил меня, оглянувшись на мою нищету.

Где же пребываешь Ты, Господи, в памяти моей, где Ты там пребываешь? Какое убежище соорудил Ты себе? Какое святилище выстроил Себе? Ты удостоил мою память Своего пребывания, но в какой части ее Ты пребываешь? Я прошел в поисках через те ее части, которые есть у животных, и не нашел Тебя там, среди образов телесных предметов; пришел к тем частям, которым доверил душевные свои состояния, но и там не нашел Тебя. Я вошел в обитель самой души моей, которая имеется для нее в моей памяти, ибо и себя самое помнит душа, но и там Тебя не было. Ты ведь не телесный образ, не душевное состояние, испытываемое нами, когда мы радуемся, огорчаемся, желаем, боимся, вспоминаем, забываема прочее; и Ты не сама душа, ибо Ты Господь Бог души моей. Все это меняется, Ты же пребываешь неизменным над всем, и Ты удостоил мою память стать Твоим жилищем с того дня, как я узнал Тебя. И зачем я спрашиваю, в каком месте ее Ты живешь, как будто там есть места? Несомненно одно: Ты живешь в ней, потому что я помню Тебя с того дня, как узнал Тебя, и в ней нахожу Тебя, Тебя вспоминая.

Где же нашел я Тебя, чтобы Тебя узнать? Тебя не было в моей памяти до того, как я узнал Тебя. Где же нашел я Тебя, чтобы Тебя узнать, как не в Тебе, надо мной? Не в пространстве: мы отходим от Тебя и приходим к Тебе не в пространстве. Истина, Ты восседаешь всюду и всем спрашивающим Тебя отвечаешь одновременно, хотя все спрашивают о разном. Ясно отвечаешь Ты, но не все слышат ясно. Все спрашивают о чем хотят, но не всегда слышат то, что хотят. Наилучший служитель Твой тот, кто не думает, как бы ему услышать, что он хочет, но хочет того, что от Тебя услышит.

Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я, безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем.

Когда я прильну к Тебе всем существом моим, исчезнет моя боль и печаль, и живой будет жизнь моя, целиком полная Тобой. Легко человеку, если он полон Тобой; я не полон Тобой и потому в тягость себе. Радости мои, над которыми надо бы плакать, спорят с печалями, которым надо бы радоваться, и я не знаю, на чьей стороне станет победа. Спорят мои недобрые печали с добрыми радостями, и я не знаю, на чьей стороне станет победа. Увы мне! Господи, сжался надо мной! Увы мне! Вот раны мои – я не скрываю их. Ты врач, я

больной; Ты жалостлив, я жалок. «Разве жизнь человека на земле – не искушение?»

Вся надежда моя только на великое, великое милосердие Твое. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Ты приказываешь воздержанность. «И я знаю, – сказал некто, – что никто не может быть воздержным, если не даст ему Бог, и это и есть мудрость – знать, чей это дар». Да, воздержанность делает нас собранными и возвращает к Единому, а мы ушли от него, разбрасываясь в разные стороны. Мало любит Тебя тот, кто любит еще что-то и любит не ради Тебя. О Любовь, которая всегда горишь и никогда не гаснешь, Боже мой. Боже милосердия, зажги меня! Ты велишь воздержанность: дай, что повелишь, и повели, что хочешь!

Ты повелишь мне, конечно, воздерживаться «от похоти плоти, похоти очей и гордости житейской». Ты повелел воздерживаться от незаконного сожития; брак Ты допустил, но посоветовал состояние лучшее. И Ты дал мне избрать это состояние раньше, чем я стал свершать Твои таинства. И, однако, доселе живут в памяти моей (о которой я много говорил) образы, прочно врезанные в нее привычкой. Они кидаются на меня, когда я бодрствую, но тогда они, правда, бессильны, во сне же доходит не только до наслаждения, но до согласия на него. И в этих обманчивых образах столько власти над моей душой и моим телом, что призраки убеждают спящего в том, в чем бодрствующего не могут живые. Разве тогда я перестаю быть собой, Господи Боже мой? И, однако, какая разница между мной, когда я погрузился в сон, и мною же, когда я стряхнул его с себя! Где в это время был разум, с помощью которого бодрствующий противостоит таким нашептываниям и пребывает непоколебим перед реальным соблазном? Закрывает ли он вместе с глазами? Засыпает вместе с телесными чувствами? И почему же часто даже во сне мы сопротивляемся, помня о своем решении, и целомудренно пребываем в нем, никак не поддаваясь на такие приманки? И все же разница такова, что и в противном случае мы, проснувшись, обретаем покой в своей совести: так далеки между собой явь и сон, что нам ясно: мы не совершили того, что каким-то образом совершилось в нас, и нам прискорбно.

Ужели рука Твоя, Всесильный Боже, не сильна исцелить всех недугов души моей и преизбытком благодати угасить эту распутную тревогу моих снов? Это не трудно Всемогущему, Который «сменен сделать больше, чем мы просим и понимаем». А сейчас я еще пребываю в этом зле, и я рассказываю благому Богу моему, «в трепете ликуя», о том, что Тобою мне даровано, плача о несовершенстве своем, надеясь, что довершишь Ты милость Свою и доведешь меня до полноты мира, в котором и пребудет с Тобой все во мне – и внутреннее и внешнее – в час, «когда поглощена будет смерть победой».

Есть и другая «злоба дня» – если бы ее одной было ему довольно! Мы восстанавливаем наше ежедневно разрушающееся тело едой и питьем, и так будет, пока «Ты не уничтожишь пищу и желудок», не убьешь голод дивной сытостью и «не облачишь это тленное тело вечным нетлением». Теперь же эта необходимость мне сладка, и я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть.

Ты научил меня принимать пищу, как лекарство. Но пока я перехожу от тягостного голода к благодушной сытости, тут, мне как раз и поставлен силок чревоугодия. Поддержание здоровья – вот причина, почему мы едим и пьем, но к ней присоединяется удовольствие – спутник опасный, который часто пытается зайти вперед, чтобы ради него делалось то, что, судя по моим словам и желанию, я делаю здоровья ради. У обоих, однако, мера не одна: того, что для здоровья достаточно, наслаждению мало. Часто трудно определить, что здесь: необходимая ли пока забота о теле и помочь ему или прислуживание обманам прихотливой чувственности. Этим соблазнам я стараюсь ежедневно противостоять;зываю к деснице Твоей. Тебе приношу тревогу мою, ибо здесь я еще в смятении.

Слыши голос веления Господа моего: «Не отягощайте сердец ваших обладанием и пьянством». От пьянства я далек; будь милостив, да не приближусь к нему. Чревоугодие иногда подползает к рабу Твоему; будь милостив, да удалится оно от меня. «Никто ведь не в силах быть воздержанным, если Ты не дашь».

Я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями: обрезать раз навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи. И найдется ли, Господи, тот, кого не увлечет за пределы необходимого? Кто бы он ни был, он велик и да прославляет он Имя Твое. Я не таков; я человек и грешник. Но и я прославляю Имя Твое, и Тот, «Кто победил мир», «да ходатайствует за грехи мои», числя меня среди немощных членов Тела Своего, ибо и «несовершенное видели очи Твои и в книге Твоей будут записаны все»

Чары запахов меня не беспокоят. Их нет, – я их не ищу; они есть, – не отгоняю; согласен навсегда обходиться без них. В этой жизни, которая называется «сплошным искущением», никто не может быть спокоен за себя: если он мог стать из плохого хорошим, это еще не значит, что он не станет из хорошего плохим. Только надеяться, только полагаться на твердо обещанное Твое милосердие!

Услады слуха крепче меня опутали и поработили, но Ты развязал меня и освободил. Теперь – признаюсь – на песнях, одушевленных изречениями Твоими, исполненных голосом сладостным и обработанным, я несколько отдыхаю, не застывая, однако, на месте: могу встать, когда захочу. Песни эти требуют, однако, для себя и для мыслей, их животворящих, некоторого достойного места в моем сердце, и вряд ли я предоставляю им соответственное. Иногда, мне кажется, я уделяю им больше почета, чем следует: я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты; плохое пение такого действия не оказывает.

Иногда, однако, не в меру остерегаясь этого обмана, я совершаю ошибку, впадая в чрезмерную строгость: иногда мне сильно хочется, чтобы и в моих ушах и в ушах верующих не звучало тех сладостных напевов, на которые положены псалмы Давида. И однако, я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки

церковного пения, когда только что обрел веру мою; и хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот – это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я, – и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви: пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет, исполнившись благочестия. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении; я заслужил наказания и тогда предпочел бы вовсе не слышать пения. Вот каков я! Плачте со мной и плачьте обо мне вы, которые трудитесь над чем-то добрым в сердце своем, откуда исходят поступки. Тех, которые не трудятся, все это не тронет. Ты же, «Господи Боже мой, услыши, оглянись, взгляни, сжался, исцели меня». В очах Твоих стал я для себя задачей, и в этом недуг мой.

Остается удовольствие, получаемое от этих моих плотских очей. О нем и будет исповедь моя, которую услышат уши церкви Твоей, уши братские и добрые. На этом и покончим с соблазнами плотских искушений, которые и до сих пор стучатся в мое сердце, и я вздыхаю «и жажду войти в обиталище мое, которое на небе».

Глаза любят красивые и разнообразные формы, яркие и приятные краски. Да не овладеют они душой моей; да овладеет ею Бог, Который создал их, конечно, «весьма хорошиими», но не они, а Он – благо мое. Они тревожат меня целый день, пока я бодрствую, и нет мне от них покоя, какой бывает от звонких голосов, да и от любых звуков в наступившем молчании. И сам царь красок, этот солнечный свет, заливающий все, что мы видим, где бы я ни был днем, всячески подкрадывается ко мне и ласкает меня, хотя я занят другим и не обращаю на него внимания. И он настолько дорог, что если он вдруг исчезнет, то его с тоской ищешь, а если его долго нет, то душа омрачается.

К тому, что прельщает глаза, сколько еще добавлено людьми! Создания разных искусств и ремесел – одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения – все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту и в церковном обиходе. Занятые вовне своими созданиями, люди в сердце своем оставляют Того, Кто их создал, разрушают то, что в них Им создано. Я же, Господи, Украшение мое, и тут нахожу причину возгласить гимн Тебе и принести жертву хвалы принесшему Себя в жертву за меня; искусные руки узнают у души о красивом, а его источник та Красота, которая превыше души и о которой душа моя вздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерила для пользования ими. А оно тут, и они не видят его. Ходить далеко не надо: «пусть хранят силу свою для Тебя» и не разбрасывают ее на утомительные услады.

Я говорю это и понимаю – и стою перед этой красотой словно ноги у меня спутаны. Ты высвобождаешь их, Господи, Ты высвобождаешь: «милосердие

Твое пред глазами моими». Я жалостно попадаюсь, и Ты жалостливо освобождаешь меня; иногда я этого не чувствую, потому что был захвачен слегка; иногда же мне больно, потому что застрял я крепко.

Сюда присоединяется другой вид искушения, во много раз более опасный.

Кроме плотского вожделения, требующего наслаждений и удовольствий для всех внешних чувств и губящего своих слуг, удаляя их от Тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти: это пустое и жадное любопытство рядится в одежду знания и науки. Оно состоит в стремлении знать, а так как из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение и называется в Писании «похотью очей».

Тут очевиднее различаешь между тем, что требуется внешним чувствам для наслаждения и что для любопытства. Наслаждение ищет красивого, звучного, сладкого, вкусного, мягкого, а любопытство даже противоположного – не для того, чтобы подвергать себя мучениям, а из желания исследовать и знать.

В этом неизмеримом лесу, полном ловушек и опасностей, я уже многое обломал и раскидал: Ты дал мне это сделать, Боже спасения моего. И однако, осмелюсь ли я сказать, когда повсюду и ежедневно в нашу жизнь с грохотом врывается множество предметов, возбуждающих любопытство, – осмелюсь ли я сказать, что ни один из них не заставит меня внимательно его разглядывать и не внушил пустого интереса? Молю Тебя ради царя нашего и Иерусалима, отечества простоты и целомудрия: как далека сейчас от меня мысль согласиться на такое, так и да пребывает она далеко и отходит еще дальше.

Вернет ли нас хоть что-то к надежде только на изведенное милосердие Твое? Ты ведь начал уже изменять нас. И Ты знаешь, насколько Ты изменил меня. Во-первых, Ты излечил меня от страсти оправдывать себя, «дабы умилостивиться и над прочими беззакониями моими, излечить все недуги мои, избавить от гибели жизнь мою, увенчать меня милостью и милосердием и насытить благами желание мое». Ты принизил гордость мою страхом Твоим и приучил шею мою к ярму Твоему. И теперь я несу его, и оно легко мне – Ты обещал это и сделал: таким оно и было, а я и не знал, когда боялся надеть его.

Ужели, Владыка, Ты единственный, владычащий, не зная гордыни, ибо Ты один настоящий Владыка, и нет владыки над Тобой, ужели это третье искушение отошло от меня или за всю эту жизнь отойти не сможет? Желать, чтобы люди меня боялись и любили не ради чего другого, а только потому, что в этом радость, которая вовсе не в радость. Жалкая жизнь и гадкое тщеславие! Это вот, главным образом, и уничтожает любовь к Тебе и чистый страх перед Тобой, потому Ты «гордым противишься, а смиренным даешь благодать» и мечешь на мирское тщеславие громы, от которых «сотрясаются основания гор». А так как некоторые общественные обязанности можно выполнять только, если тебя любят и боятся, то враг истинного счастья нашего тут и начинает наступать, всюду разбрасывая, как приманку по силкам, свои похвалы: мы жадно их подбираем и по неосторожности попадаемся, отлагаем от истины Твоей радость

свою и полагаем ее в человеческой лжи. Нам приятно, чтобы нас любили и боялись не ради Тебя, а вместо Тебя.

Мы же, Господи, вот мы «малое стадо Твое», владей нами. Раскинь крылья Твои, пусть мы укроемся под ними. Будь славой нашей; пусть нас любят ради Тебя, пусть боятся в нас Слова Твоего! Того, кто хочет людских похвал, невзирая на Твое порицание, не защитят люди на Суде Твоем, не вырвут его от осуждения Твоего. Не «грешника, однако, хвалят за желания души его», «не творящего беззаконие благословляют»: хвалят человека за дар, от Тебя полученный, но если он больше радуется похвалам, чем самому дару, за который его хвалят, то Ты его порицаешь. И тот, кто хвалит, лучше того, кого хвалят. Первому угоден в человеке Божий дар, а второму более угоден дар от человека, а не от Бога.

Искушают нас эти искушения ежедневно, Господи, непрерывно искушают. Человеческий язык – это искусительное горнило на каждый день. Ты приказываешь нам и здесь владеть собой: дай, что повелиши, и повели, что хочешь. Ты знаешь стенания сердца моего к тебе и реки слез моих. Мне нелегко сообразить, насколько очистился я от этой скверны, и я очень боюсь того, что скрыто во мне; это видят глаза Твои, мои нет.

В чем же исповедуюсь я Тебе, Господи, говоря об этом искушении? Не в том ли, что похвалы мне очень приятны? Но истина больше, чем похвалы. Если бы меня спросили, предпочтут ли я стать безумцем, во всем заблуждаться и слышать всеобщие похвалы, или быть разумными, твердо стоять в истине и слышать всеобщее порицание, я знаю, что выберу. Я не хотел бы только, чтобы одобрение из чужих уст увеличивало во мне радость от чего-то доброго во мне. А оно – признаюсь – увеличивает; мало того, порицание уменьшает.

«Нищ я и беден», но я лучше, когда, опротивев себе и стеная, втайне ищу милосердия Твоего, пока не восполнится ущербность моя и не исполнюсь я мира, неведомого оку гордеца. Речи же, выходящие из уст, и дела, известные людям, искушают опаснейшим искушением: любовью к похвале, которая попрошайничает и собирает голоса в пользу человека, чтобы как-то его возвысить. Она искушает меня, когда я изобличаю ее в себе, тем самым, что я ее изобличаю: часто презрением к пустой славе прикрывается еще более пустая похвальба; нечего хвалиться презрением к славе: ее не презирают, если презрением к ней хвалятся.

В нас засело, засело еще и другое зло, обнаруживаемое этим искушением: оно опустошает души тех, кто сам себе нравится, хотя другим они и не нравятся или даже противны. Они и не стараются понравиться. Нравясь себе, очень они Тебе опротивеют: нехорошее они считают хорошим; Твои хорошие дела своими, а если и твоими, то совершенными благодаря им; пусть в силу Твоего влияния, но они ему не порадуются вместе с другими, а позавидуют тем, кто им воспользовался. В таких и подобных опасностях и затруднениях Ты видишь трепет сердца моего, и я чувствую, что Ты будешь вновь и вновь исцелять раны мои, но не перстанешь наносить их.

Где ни проходила Ты вместе со мной, Истина, уча, чего остерегаться и к чему стремиться, когда я приносил тебе скучные домыслы свои, какие мог, и спрашивал совета! Я обошел, где мог, чувством своим внешний мир, вглядывался в жизнь, оживляющую мое тело, и в эти самые внешние чувства мои. Оттуда я вступил в тайники моей памяти, в эти просторы, с их многообразием; они чудесным образом наполнены бесчисленными сокровищами. Я смотрел и ужасался: я не мог ничего разобрать без Тебя, но все это – не Ты.

И не сам я нашел это, хотя всюду проник и постарался все различить и оценить по достоинству: об одном я узнавал от моих вестников-чувств, которые я спрашивал; другое, я чувствовал, срослось со мной, и я разбирался в самих этих вестниках моих, распределяя их, и уже в богатых сокровищах памяти моей одно пересматривал, другое прятал, иное извлекал на свет. Ни сам я, занятый этим, ни сила моя, с помощью которой я этим занимался, не были Ты, ибо Ты свет вечно пребывающий, у которого я спрашивал обо всем: существует ли это, что это такое, какая ему цена, – и я слушал Твои уроки и приказания. И я часто это делаю, в этом радость моя, сладостное убежище, куда я бегу всякий раз, чуть отпустят меня дела необходимые. Во всем, однако, что я перебираю, спрашивая Тебя, не нахожу я верного пристанища для души моей; оно только в Тебе, где собирается воедино пребывающее в рассеянии, и ничто во мне не отходит от Тебя. И порою Ты допускаешь в глубине моей редкое чувство неизведанной сладости; если бы пережить его во всей полноте, то не знаю, что будет – этой жизнью это не будет. И я падаю обратно сюда под горьким бременем; меня засасывает обычное и держит меня: я сильно плачу, но и держит оно меня сильно. Вот чего стоит груз привычки! Быть здесь я в силах, но не хочу; там хочу, но не в силах: жалок обоюдно.

Вот почему рассмотрел я грехи мои, которыми болею, подчиняясь тройному вожделению, и воззвал к деснице Твоей для спасения моего. Увидел я, раненный сердцем, сияние Твое и, ослепленный им, сказал: кто может его выдержать? «Отвергнут я от очей Твоих». Ты – Истина, над всем царящая, и я, в жаждости своей, не захотел потерять Тебя, но захотел вместе с Тобой обладать и ложью. Никто ведь не захочет изолгаться до того, чтобы самому не знать, в чем истина. Так я и потерял Тебя, потому что Ты не удостоишь ложь того, чтобы ужиться с ней.

Кого найти мне, чтобы примирить меня с Тобой? Обратиться к ангелам? С какой молитвой? С помощью каких обрядов? Многие старались вернуться к Тебе, но не смогли этого сделать своими силами и, по моим слухам, испробовали это средство: они были охвачены желанием необычных видений и по заслугам оказались жертвой собственных вымыслов. Они искали тебя, кичась своей наукой, гордо выпятив грудь, а не смиренно ударяя в нее; они привлекли себе, по сходству сердец, в товарищи и помощники своей гордости «духов воздуха», которые и обманули их силами магии. Они искали посредника, который бы очистил их, но его не было: был «диавол, принявший вид ангела света». И гордая плоть их особенно соблазнялась тем, что у него не было

плотского тела!

Были они смертные и грешники, Ты же, Господи, примирения с Кем они гордо искали, бессмертен, и безгрешен. И посреднику между Богом и людьми надлежало в чем-то уподобиться Богу, в чем-то уподобиться людям; подобный во всем людям, он был бы далек от Бога; подобный во всем Богу, он был бы далек людям, и, следовательно, не мог стать посредником. У того же, мнимого, посредника (тайным судом Твоим определено через него посрамлять гордость, как он того и заслужила) есть одно общее с людьми – грех. Ему, однако, желательно казаться, что есть у него и нечто общее с Богом: не будучи облечен смертной плотью, он и хвалится бессмертием. А так как «возмездие за грех – смерть», то объединяет его с людьми как раз то, за что вместе с ними он и осужден на смерть.

Истинный же посредник, Которого в таинственном милосердии Твоем явил Ты людям, послав к ним, чтобы на Его примере научились они настоящему смирению, «Посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус» встал между смертными грешниками и Бессмертным и Праведным – смертный, как люди, праведный, как Бог. А так как награда праведности – жизнь и мир, то праведностью, соединяющейся с Богом, он изгнал смерть для оправдания грешников, пожелав приобщиться к ней вместе с ними. Он явлен был древним святым, дабы они спаслись верой в будущие страдания Его, как спасены мы верой в бывшие. Как человек. Он посредник, а как Слово, Он не стоит посередине, ибо Он равен Богу, Он Бог у Бога и единый Бог вместе с Богом.

Как же полюбил Ты нас, добрый Отец, что Сына Своего единственного не пожалел, и предал Его за нас, нечестивых. Как полюбил Ты нас, за которых Он, «не почитая хищением быть равным Богу, смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной». Он единственно «свободный среди мертвых», «имеющий власть отдать душу свою» и «власть опять принять ее». Он за нас пред Тобой победитель и жертва; и победитель потому, что жертва; Он за нас пред Тобой первосвященник и приношение, и первосвященник потому, что приношение; Он сделал нас из рабов сыновьями Тебе, от Тебя рожденный, нам послуживший.

По справедливости крепко надеюсь на Него: Ты исцелишь все недуги мои через Того, Кто сидит одесную Тебя и ходатайствует за нас пред Тобою. Иначе я впал бы в отчаяние: многочисленны и тяжки недуги мои, многочисленны и тяжки, но сильнее врачевание Твое. Мы могли бы думать, что Слово твое так далеко от человека, что не может соединиться с ним, и пришли бы в отчаяние, если бы «Оно не стало плотью и не обитало бы среди нас».

Ужаснувшись грехов моих, под бременем нищеты моей, задумал я в сердце своем бежать в пустыню, но Ты удержал и укрепил меня, говоря: «Христос для того умер за всех, чтобы живущие не для себя жили, но для Того, Кто умер за всех». Вот, Господи, ялагаю на Тебя свою заботу, да живу и «увижу чудеса закона Твоего»: Ты знаешь невежество мое и слабость мою: научи меня и исцели меня. Твой единственный Сын, «в Котором сокрыты все сокровища

премудрости и ведения» выкупил меня Своей Кровью. Пусть не клевещут на меня гордецы: я думаю о моем выкупе, когда принимаю и раздаю Причастие. Я, бедный, желаю насытиться вместе с теми, кто принимает и насыщается: «и восхвалят Господа, кто ищет Его».

## Книга одиннадцатая

Ужели, Господи, Ты, чей удел вечность, не знаешь того, о чем я Тебе говорю? Или то, что совершается во времени, Ты видишь в то же самое время? Зачем же я Тебе столько рассказываю и так подробно? Не затем, разумеется, чтобы Ты от меня об этом узнал, но чтобы возбудить и в себе и в тех, кто это читает, любовь к Тебе, да скажем все: «Велик Господь и достохвален». Я уже сказал и еще скажу: я делаю это из любви к любви Твоей. Мы ведь молимся, хотя истина и говорит: «Знает Отец ваш, в чем имеете нужду, прежде чем вы попросите у Него». Наши чувства к тебе раскрываем мы, исповедуя Тебе несчастья наши и милости Твои: доверши освобождение наше, Тобой начатое; да перестанем быть несчастными в себе, да будем в Тебе счастливы. Ты ведь призывал нас стать нищими духом, кроткими, плачущими, алчущими и жаждущими правды, милостивыми, чистыми сердцем, миротворцами. Вот и рассказал я Тебе много: что мог и что хотел. Ты ведь первый захотел, чтобы я исповедался Тебе, Господу Богу моему, «ибо Ты добр, ибо на веки милость Твоя».

Когда же мне довольно будет сообщать языком пера о всех увещаниях Твоих, о всех угрозах Твоих, об утешениях и руководствах, которыми привел Ты меня проповедовать слово Твое и раздавать тайны Твои народу Твоему? А если и довольно будет сообщить все по порядку, то дорого ведь мне стоит каждая капля времени. Давно уже горит сердце мое размышлять о законе Твоем и тут показать Тебе свое знание и свою неопытность, первые проблески Твоего света и оставшиеся тени мрака, пребывающего во мне, доколе не поглотит сила Твоя немощь мою. Я не хочу растрачивать на другое, часов, остающихся свободными от необходимых забот о себе, от умственного труда, от услуг людям, обязательных и необязательных, но все-таки мною оказываемых.

Господи Боже мой, внемли молитве моей; по милости Твоей услышь желание мое; оно кипит во мне не только ради меня: я хочу от него пользы любимым братьям; и Ты видишь в сердце моем, что это так. Да послужу Тебе мыслью и словом, да принесу их в жертву Тебе: дай что предложить Тебе, ибо «нищ я и беден, но Ты богат для всех, призывающих Тебя», свободный от забот, Ты заботишься о нас. Отсеки всякое неразумие и всякую ложь во мне и вне меня, на устах моих. Да пребудет Писание Твое чистой усладой моей, да не впаду в заблуждение через него, да не введу им в заблуждение. Внемли, Господи, и сжался, Господи Боже мой, свет слепых и сила немощных, и всегда свет зрячих и сила сильных! Внемли душе моей, услышь, «взывающего из бездны». Если нет в бездне ушей Твоих, куда нам идти? К кому взывать? «Твой день и Твоя ночь», по мановению Твоему пролетают минуты. Одари меня щедро временем для размышлений над тем, что сокрыто в законе Твоем; перед стучащимися не

закрывай его. Не напрасно же заставил Ты написать столько страниц, повитых глубокой тайной. Разве в лесах этих нет своих оленей, которые приходят туда укрываться, отдохнуть, походить, попастись, полежать и пожевать жвачку. О Господи, доведи меня до разумения и открай мне эти страницы. Голос Твой – радость моя; голос Твой дороже всех наслаждений. Дай, что я люблю: ведь я люблю. И любить Ты дал мне. Не оставляй даров Твоих, не презри жаждущую былинку Твою. Да исповедую Тебе все, что найду в книгах Твоих, да «услышу глас хвалы», буду впивать Тебя и созерцать «чудеса закона Твоего» от начала, когда создал Ты землю и небо, и до вечного царства, с Тобой во святом граде Твоем.

Умилосердись, Господи, услыши желание мое. Мне не надо ничего земного: ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, ни изукрашенных одежд, ни почестей, ни высоких званий, ни плотских наслаждений, и даже того, что нужно телу в этом нашем житейском странствии – все это «приложится нам, ищащим Царства Божия и правды его». Взгляни, Господи, откуда у меня это желание. «Рассказывали мне беззаконные о наслаждениях своих; они не таковы, как от закона Твоего, Господи». Вот откуда желание мое. Взгляни, Отец, посмотри и одобри: да обрету милость у Тебя перед лицом милосердия Твоего, да откроется на мой стук сокровенное в словах Твоих. Молю Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, сидящего одесную Тебя, Сына Человеческого, Которого Ты доставил посредником между Тобой и нами, через Которого Ты искал нас, не искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя; во имя Слова Твоего, через которое Ты создал все, в том числе и меня; во имя Единственного Твоего, через Которого Ты усыновил верующих, в том числе и меня; умоляю Тебя во имя Его, сидящего одесную Тебя, нашего Ходатая, «в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения», которых ищу я в книгах Твоих. Моисей писал о нем; он сам это говорит; истина это говорит.

Дай мне услышать и понять, каким образом Ты сотворил в начале небо и землю. Написал это Моисей, написал и ушел, перешел отсюда – от Тебя к Тебе, и нет его сейчас передо мною. Если бы он был тут, я ухватился бы за него и просил и заклинал Тобою раскрыть мне эти слова, я ловил бы своим телесным слухом звуки, лившиеся из уст его. Если бы он говорил по-еврейски, его голос напрасно стучался бы в уши мои, и разума моего ничто бы не коснулось. Если же по-латыни, я понял бы, что он говорит. Но откуда бы я узнал, правду ли он говорит? А если бы и это узнал, то разве от него бы узнал? Внутри, конечно, внутри меня, в обители размышлений моих истина, не нуждающаяся ни в еврейском, ни в греческом, ни в латинском, ни в варварском языке, сказала бы мне беззвучно, не языком и не устами: «Он истину говорит», и я тотчас же, в полной уверенности сказал бы человеку Твоему: «Ты истину говоришь». А так как я не могу его спросить, то прошу Тебя, Истина (он говорил истину, ею исполненный), прошу Тебя, Боже мой, «не подстерегай грехов моих». Ты, давший рабу Твоему сказать эти слова, дай и мне их понять.

Вот земля и небо; они кричат о том, что они созданы; ибо они меняются и облик их различен. В том же, что не сотворено и, однако, существует, в том нет

ничего, чего не было раньше, т.е. нет изменения и различия. Кричат они также, что не сами они себя создали: «мы существуем потому, что мы созданы: нас ведь не было, пока мы не появились; и мы не могли возникнуть сами собой». И самой очевидностью подтвержден этот голос. Итак, Господи, Ты создал их; Ты прекрасен, – и они прекрасны; Ты добр, – и они добры; Ты – Сущий, – и они существуют. Они не так прекрасны, не так добры и не так существуют, как Ты, их Творец. По сравнению с Тобой они не прекрасны, не добры и их не существует. Мы знаем это и благодарим за это Тебя; наше знание, по сравнению с Твоим знанием, невежество.

Как же создал Ты небо и землю, каким орудием пользовался в такой великой работе? Ты ведь действовал не так, как мастер, делающий одну вещь с помощью другой. Душа его может по собственному усмотрению придать ей тот вид, который она созерцает в себе самой внутренним оком. А почему может? Только потому, что Ты создал ее. И она придает вид веществу, уже существующему в каком-то виде, например земле, камню, дереву, золоту и тому подобному, а если бы Ты не образовал всего этого, откуда бы оно появилось? Мастеру тело дал Ты; душу, распоряжающуюся членами его тела, – Ты; вещество для его работы – Ты; талант, с помощью которого он усвоил свое искусство и видит внутренним зрением то, что делают его руки, – Ты; телесное чувство, которое объясняет и передает веществу требование его души и извещает ее о том, что сделано, – Ты; пусть она посоветуется с истиной, которая в ней живет и ею руководит, хороша ли работа. И все это хвалит Тебя, Создателя всего. Но как Ты это делаешь? Каким образом, Боже, создал Ты землю и небо? Не на небе же, конечно, и не на земле создавал Ты небо и землю, не в воздухе и не на водах: они ведь связаны с небом и с землей. И не во вселенной создал Ты вселенную, ибо не было ей, где возникнуть, до того, как возникло, где ей быть. И ничего не держал Ты в руке Своей, из чего мог бы сделать небо и землю. И откуда могло быть у Тебя вещество, которого Ты не сделал раньше, чтобы потом сделать из него что-то? Все, что есть, есть только потому, что Ты есть. Итак, Ты сказал «и явилось» и создал Ты это словом Твоим.

А каким образом Ты сказал? Так ли, как тогда, когда из облака раздался Твой голос: «Это Сын Мой возлюбленный»? Этот голос прозвучал иозвучал; заговорил и умолк. Слоги прозвучали и исчезли: второй после первого, третий после второго и так по порядку до самого последнего, после которого наступило молчание. Из этого явствует, что их произвело движением своим создание Твое временное, но послужившее вечной воле Твоей, – и эти слова Твои, сказанные во времени, наружное ухо сообщило разуму, который внутренним ухом прислушивается к вечному Слову Твоему. И он, сравнив те, во времени прозвучавшие слова, с вечным Словом Твоим, пребывающим в молчании, сказал: «Это другое, совсем другое, эти слова меньше меня, да их вообще и нет, они бегут и исчезают; Слово же Бога моего надо мной и пребывает во веки». Итак, если словами, прозвучавшими и исчезнувшими, повелел Ты быть небу и земле, если таким образом создал Ты небо и землю, то,

значит, раньше земли и неба было уже существо, обладающее телом, чей голос, вызванный временным усилием, и пронесся во времени. Никакого, однако, тела раньше земли и неба не было, а если и было, то, конечно, не голосом преходящим создал Ты его, дабы потом создать преходящий, которым и повелел появиться небу и земле. А что это за существо, которое могло издать такой голос? Если бы Ты его не создал, его вообще бы не было. Какое же слово было Тобой сказано, чтобы появилось тело, произнесшее эти слова?

Так зовешь Ты нас к пониманию Слова-Бога, пребывающего с Богом; извечно произносится оно и через него все извечно произнесено. То, что было произнесено, не исчезает; чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим: все извечно и одновременно. Иначе существовало бы время и изменяемость – не настоящая вечность и не настоящее бессмертие.

Знаю это, Господи, и благодарю Тебя; знаю это, исповедую Тебе, Боже мой, и вместе со мной знает это и благословляет Тебя каждый, кто не остается неблагодарным, узнав несомненную истину. Мы знаем, Господи, знаем, что не быть тем, чем был, и стать тем, чем не был, – это своего рода смерть и рождение. А в Слове Твоем ничто не исчезает, ничто не приходит на смену: оно бессмертно иечно. И поэтому Словом, извечным, как Ты, Ты одновременно и едино говоришь все, что говоришь; возникает все, чему Ты говоришь возникнуть; Ты создаешь только Словом, и, однако, не одновременно и не от века возникает все, что Ты создаешь Словом.

Почему же, спрашиваю я, Господи Боже мой? Я как-то это вижу, но не знаю, как выразить. Может быть, все, что начинает быть и перестает быть, тогда начинает быть и тогда перестает, когда должно ему начаться и перестать, и это известно вечному разуму, в котором ничто не начинается и не перестает быть. Этот разум и есть Слово Твое, а Он есть начало, как нам и сказано. Так говорит Он в Евангелии голосом плоти; эти слова прозвучали во внешнем мире для людских ушей, чтобы им поверили, стали бы искать их в сердце своем и нашли в вечной истине, где Он, добный, единий Учитель, поучает всех учеников Своих. Там слышу я голос Твой, Господи, говорящий мне: ибо Он говорит с нами, Он, кто учит нас; кто же не учит, тот, если и говорит, не для нас говорит. А кто же учит нас кроме незыблемой, недвижной истины? Даже когда нас наставляет и существо изменчивое, его уроки все-таки ведут нас к недвижной истине, где мы и учимся по-настоящему: стоим и слушаем мы его, «радостью радуемся, слыша голос жениха», и возвращаемся туда, откуда мы сами. Потому-то Он и есть «Начало»: если бы Он не пребывал, пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуться. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся потому, что узнали их, а узнавать их и учит нас Он, ибо Он Начало и говорит нам.

Этим началом Ты и создал, Боже, небо и землю – словом Твоим. Сыном Твоим, силой Твоей, мудростью Твоей, истиной Твоей: дивным было слово Твое и дивным дело Твое. Кто это поймет? Кто объяснит? Что это брезжит и ударяет в сердце мое, не нанося ему раны? Трепещу и пламенею, трепещу в страхе: я так

непохож на Тебя; горю, пламенею любовью: я так подобен Тебе. Мудрость, сама мудрость забрежила мне, разорвав туман, который вновь окутывает меня, бессильного от этого мрака под грудой мучений моих. «Так ослабела сила моя в нищете», что не могу нести я и хорошее свое, пока Ты, Господи, «милостивый среди всех согрешений моих», не «исцелишь все недуги мои». Тогда выкупишь Ты «из гибели жизнь мою», «увенчаешь меня милостью и милосердием» и насытишь «благами желание мое», ибо «обновится юность моя, как у орла». «Надеждой спасены мы» и «терпеливо ожидаем», когда исполняются обещания Твои.

Пусть слушает, кто может, в сердце своем слова Твои; я же воскликну, доверяя пророчеству Твоему: «Как величественны дела Твои, Господи, все премудро сделал Ты». И премудрость Твоя – и есть начало, и этим началом создал Ты небо и землю.

Разве не обветшали разумом те, кто спрашивает нас: «Что делал Бог до того, как создал небо и землю? Если Он ничем не был занят», говорят они, «и ни над чем не трудился, почему на все времена и впредь не остался Он в состоянии покоя, в каком все время пребывал и раньше? Если же у Бога возникает новое деятельное желание создать существо, которое никогда раньше Им создано не было, то что же это за вечность, в которой рождается желание, раньше не бывшее? Воля ведь присуща Богу до начала творения: ничто не могло быть сотворено, если бы воля Творца не существовала раньше сотворенного. Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его. И если в Божественной субстанции родилось то, чего в ней не было раньше, то субстанция эта по справедливости не может быть названа вечной; если вечной была воля Бога творить, почему неечно Его творение?»

Те, кто говорит так, еще не понимают Тебя, Премудрость Божия, просвещая умы, еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через Тебя и в Тебе. Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их сердце и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте: пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнил ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы: пусть увидит. Что длительное время делает длительным множество переходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое; в вечности ничто не проходит, но пребывает как настоящее во всей полноте; время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, и все прошлое и будущее создано Тем, Кто всегда пребывает, и от Него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце: пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Есть ли в руке моей сила описать; может ли язык мой поведать словом о столь великому?

Вот мой ответ спрашивающему: «Что делал Бог до сотворения неба и земли?» Я

отвечу не так, как, говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса: «Приготовлял преисподнюю для тех, кто допытывается о высоком». Одно – понять, другое – осмеять. Так я не отвечу. Я охотнее ответил бы: «Я не знаю того, чего не знаю», но не подал бы повода осмеять человека, спросившего о высоком, и похвалить ответившего ложью. Я называю Тебя, Боже наш, Творцом всего творения, и если под именем неба и земли разумеется все сотворенное, я смело говорю: до создания неба и земли Бог ничего не делал. Делать ведь означало для Него творить. Если бы я знал так же все, что хочу знать на пользу себе, как знаю, что не было ничего сотворенного до того, как было сотворено!

И если чей-то легкомысленный ум скитается среди образов давних времен и удивляется, почему Ты, Господи, Всемогущий, все создавший и все содержащий, Мастер, создавший небо и землю, не приступил к такому великому делу в течение бесчисленных веков, то пусть он пробудится и поймет, что удивление его напрасно.

Как могли пройти бесчисленные века, если они не были еще созданы Тобой, Творцом и Учредителем всех веков? Было разве время, Тобой не учрежденное? И как могло оно пройти, если его вовсе и не было? А так как делатель всякого времени – Ты, то, если до сотворения неба и земли было какое-то время, то почему можно говорить, что Ты пребывал в бездействии? Это самое время создал Ты, и не могло проходить время, пока Ты не создал времени. Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было времени, не было и «тогда».

Ты не во времени был раньше времен, иначе Ты не был бы раньше всех времен. Ты был раньше всего прошлого на высотах всегда пребывающей вечности, и Ты возвышаешься над всем будущим: оно будет и, придя, пройдет, «Ты же всегда – тот же, и годы Твои не кончаются». Годы Твои не приходят и не уходят, а наши, чтобы прийти им всем, приходят и уходят. Все годы Твои одновременны и недвижны: они стоят; приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят; наши годы исполняются тогда, когда их вовсе не будет. «Годы Твои как один день», и день этот наступает не ежедневно, а сегодня, ибо Твой сегодняшний день не уступает места завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день Твой – это вечность; поэтому вечен, как и Ты, Сын Твой, Которому Ты сказал: «Сегодня Я породил Тебя». Всякое время создал Ты и до всякого времени был Ты, и не было времени, когда времени вовсе не было.

Не было времени, когда бы Ты не создавал чего-нибудь; ведь создатель самого времени Ты. Нет времени вечного, как Ты, ибо Ты пребываешь, а если бы время пребывало, оно не было бы временем.

Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать?

Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее

прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени; признаю, что их три. Пусть даже говорят, как принято, хотя это и не правильно, что есть три времени: прошедшее, настоящее и будущее: пусть говорят. Не об этом сейчас моя забота, не спорю с этим и не возражаю; пусть только люди понимают то, что они говорят и знают, что ни будущего нет, ни прошлого.

Признаюсь Тебе, Господи, я до сих пор не знаю, что такое время, но признаюсь, Господи, и в другом: я знаю, что говорю это во времени, что я долго уже разговариваю о времени и что это самое «долго» есть не что иное, как некий промежуток времени. Каким же образом я это знаю, а что такое время, не знаю? А может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю? Горе мне! Я не знаю даже, чего я не знаю. Вот, Боже мой, я пред Тобою: я не лгу; как говорю, так и думаю. «Ты зажжешь светильник мой, Господи Боже мой. Ты осветишь тьму мою».

Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает. Кто станет отрицать, что будущего еще нет? Но в душе есть ожидание будущего. И кто станет отрицать, что прошлого уже нет? Но и до сих пор есть в душе память о прошлом. И кто станет отрицать, что настоящее лишено длительности: оно проходит мгновенно. Наше внимание, однако, длительно, и оно переводит в небытие то, что появится. Длительно не будущее время – его нет; длительное будущее, это длительное ожидание будущего. Длительно не прошлое, которого нет; длительное прошлое это длительная память о прошлом.

Я собираюсь пропеть знакомую песню; пока я не начал, ожидание мое устремлено на нее в целом; когда я начну, то по мере того, как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. Сила,ложенная в мое действие, рассеяна между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу. Внимание же мое сосредоточено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминание, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе: действие закончено; оно теперь все в памяти. То, что происходит с целой песней, то происходит и с каждой ее частицей и с каждым слогом; то же происходит и с длительным действием, частицей которого является, может быть, эта песня; то же и со всей человеческой жизнью, которая складывается, как из частей, из человеческих действий; то же со всеми веками, «прожитыми «сынами человеческими», которые складываются, как из частей, из всех человеческих жизней.

Но так как «милость Твоя лучше, нежели жизнь», то вот жизнь моя: это сплошное рассеяние, и «десница Твоя подхватила меня» в Господе моем, Сыне Человеческом, посреднике между Тобой, Единым, и нами, многими, живущими во многом и многим; «да достигну через Него, как достиг меня Он». Уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним. «Забывая прошлое», не рассеиваясь в мыслях о будущем и преходящем, но сосредоточиваясь на том, что передо мной, не рассеянно, но сосредоточенно «пойду к победе призыва свыше» и услышу «глас хвалы и буду созерцать красоту Твою», которая не появляется и не исчезает. Теперь же «годы мои проходят в стенаниях» и утешение мое Ты, Господи; Ты мой извечный Отец, я же низвергся во время, строй которого мне неведом; мысли мои, самая сердцевина души моей раздираются в клочья шумной его пестротой, доколе не сольюсь я с Тобой, очищенный и расплавленный в огне любви Твоей. Тогда я встану и утверждаюсь в Тебе, в образе моем, в истине Твоей.

Господи Боже мой, в каких же глубинах скрываются тайны Твои и как далеко от них отбросило меня следствие грехов моих. Исцели глаза мои, да сорадуюсь свету Твоему. Если есть душа, сильная великим знанием и предвидением, которой все прошлое и будущее знакомо так, как мне прекрасно знакомая всем песня, то это душа удивительная, повергающая в священный трепет: от нее ведь не сокрыто ни то, что прошло, ни то, что еще остается в веках, как не сокрыто от меня, когда я пою эту песню, что и сколько из нее уже спето, что и сколько остается до конца.

Да не придет мне в голову, что Ты, Устроитель вселенной, Устроитель душ и тел, да не придет мне в голову, что Ты знаешь все будущее в прошлое в такой же мере. Ты постигаешь его гораздо-гораздо чудеснее и гораздо таинственнее. У поюще го знакомую песню и слушающего ее настроение меняется в ожидании будущих звуков и при воспоминании о прошлых, и чувства возникают разные. Не так у Тебя, неизменно вечного, воистину вечного Творца умов. И как Ты знал «в начале небо и землю», неизменным знанием Твоим, так и сотворил Ты в начале небо и землю единым действием Твоим. Кто это понимает, пусть восхвалит Тебя, и кто не понимает, пусть восхвалит Тебя! О! На каких Ты высотах! И сердца смиренных – дом Твой. «Ты поднимаешь поверженных», и не падают те, кого Ты возвысили.

## Книга двенадцатая

Скорбит сильно сердце мое, Господи, в этой скучности жизни моей, когда стучатся в него слова Святого Твоего Писания. Широковещательная речь прикрывает обычно нищету человеческого ума; исканье речистее открытия, просьба длительнее ее удовлетворения, стучащая рука утруждена больше получающей. У нас есть обещание: кто извратит его? «Если Бог за нас, кто против нас?» – «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Это обещания Твои, и кто же побоится обмана, когда обещает Истина?

Исповедую высоте Твоей ничтожество языка моего: Ты создал небо и землю – это небо, которое я вижу, и землю, которую попираю; из нее эта земля, которую я ношу. Ты это создал.

Где же, однако, Господи, небо небес, о которых мы слышали в псалме: «Небо небес Господу; землю же дал Он сынам человеческим». Где это небо, которого мы не видим, перед которым все, что мы видим, – земля? Этот дальний мир в целости своей – он, впрочем, не всюду целен – получил такую красоту в самых последних созданиях своих. И, однако, перед тем «небом небес» даже небо над нашей землей – земля. И эти оба больших тела действительно земля по сравнению с тем, мне неведомым небом, которое принадлежит Господу, а не «сынам человеческим».

Земля эта «была невидима и неустроена»; не знаю, что это за глубокая бездна, над которой не было света: она была лишена всякого вида, почему и велел Ты написать: «тьма была над бездной». Что это означает, как не отсутствие света? Где был бы свет, если бы он был? Он находился бы надо всем и все озарял. А так как света еще не было, то что означает присутствие тьмы, как не отсутствие света? Над бездной, следовательно, находилась тьма, ибо под ней света не было; это, как со звуком: там, где его нет, там молчание. А что значит «там молчание»? То, что там нет звуков.

Не Ты ли, Господи, наставил эту душу, которая Тебе исповедуется? Не Ты ли, Господи, наставил меня: прежде чем Ты придал форму и красоту этой бесформенной материи, не было ничего: ни цвета, ни очертаний, ни тела, ни духа. И все-таки это не было полное «ничто»: было нечто бесформенное, лишенное всякого вида.

Каким же именем назвать это «ничто», чтобы о нем получили какое-то представление умы даже не очень острые? Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во всех частях вселенной найдется более близкого к полному отсутствию формы, как не земля и бездна? Находясь на самой нижней ступени творения, они соответственно и менее прекрасны, чем все светящиеся и сверкающие тела вверху. Почему же для обозначения бесформенной материи, которую Ты создал сначала без всякого вида, чтобы потом из нее создать мир, прекрасный видом, не взять мне столь знакомых людям слов, как «земля невидимая и неустроенная»?

Господи, Ты не бываешь то одним, то другим, то по одному, то по-другому: Ты всегда то же самое, то же самое, то же самое – святой, святой, святой, Господь Всемогущий, Ты создал нечто из «ничего», Началом, которое от Тебя, Мудростью Твоей, рожденной от субстанции Твоей. Ты создал небо и землю не из Своей субстанции: иначе Творение Твое было бы равно Единородному Сыну Твоему, а через Него и Тебе. Никоим образом нельзя допустить, чтобы Тебе было равно то, что не от Тебя изошло. А кроме Тебя, Боже, Единая Троица и Троичное Единство, не было ничего, из чего Ты мог бы создать мир. Ты и создал из «ничего» небо и землю, нечто великое и нечто малое, ибо Ты всемогущ и добр и потому сотворил все добрым: великое небо и малую землю.

Был Ты и «ничто», из которого Ты и создал небо и землю: два тела, одно близкое к Тебе, другое близкое к «ничто»; одно, над которым пребываешь Ты; другое, под которым ничего нет.

«Небо небес» Твое, Господи; земля же, которую Ты дал «сынам человеческим», которую можно видеть и трогать, была не такой, какую мы сейчас видим и трогаем. Она была невидима и неустроена: это была бездна, над которой не было света: «тьма закрывала бездну», т.е. была еще большей, чем в бездне. В бездне вод, ставших уже видимыми, даже на глубине есть своеобразный свет, как-то ощущаемый рыбами и гадами, ползающими по дну; тогда же все целиком было почти «ничто», потому что было совсем бесформенно и, однако, уже могло принять форму.

Ты же, Господи, создал мир из материи бесформенной, которую, почти «ничто», создал из «ничего», чтобы из этого создать великое, чему изумляемся мы, сыны человеческие. Так изумительно это здимое небо, эта твердь между водой и водой, которой Ты сказал на второй день после создания света: «да будет» – и стало так. Эту твердь Ты назвал небом, но небом для этой земли и моря, которые Ты создал в третий день, дав здимый облик бесформенной материи, созданной до всех дней. И небо Ты создал до всех дней, но только «небо этих небес», ибо в начале создал Ты небо и землю.

Земля же эта, Тобою созданная, была бесформенной материей, была «невидима, неустроена, и тьма была над бездной». Из этой невидимой и неустроенной земли, из этого бесформенного, этого почти «ничто» Ты и создал все то, из чего этот изменчивый мир состоит, но не стоит он, это воплощение самой изменчивости. Она и позволяет чувствовать время и вести ему счет, ибо время создается переменой вещей: разнообразно в смене обличков то, чему материалом послужила упомянутая «невидимая земля».

Поэтому Дух, поучающий слугу Твоего, напомнив, что Ты сотворил вначале небо и землю, молчит о времени, ни слова не говорит о днях. И действительно, «небо небес», которые Ты создал в начале, есть мир духовный. Он ни в коем случае не изначен, как Ты, Троица, но все же причастен Твоей вечности. В сладостном счастье созерцать Тебя он не позволяет себе изменяться. Не зная падений, от самого времени сотворения своего прильнувший к Тебе, он находится вне круговой смены скользящего времени. И это бесформенное нечто, «земля невидимая и неустроенная», находилось также вне времени. Где нет никакого облика, никакого порядка, где ничто не приходит и не уходит, нет, конечно, ни дней, ни смены времен.

О истина, свет моего сердца, пусть не говорит со мной темнота моя! Я скатился в нее, и меня обволокло тьмой, но и там, даже там я так любил Тебя. Я скитался и вспомнил Тебя. «Я услышал за собой голос Твой» и приказ вернуться, но едва услышал его в свалке тех, кто не знает мира. И теперь вот, в поту, задыхаясь, возвращаюсь к источнику Твоему. Пусть никто не отгоняет меня: из него буду пить, им буду жить. Да не в себе найду жизнь свою: я плохо жил собой, смертью был я себе: в Тебе оживаю. Говори со мной, наставляй меня. Я поверил

книгам Твоим, но слова их – великая тайна.

Ты сказал мне уже, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что Ты вечный, «единый, имеющий бессмертие», ибо не меняешься Ты ни в облике, ни в движении, и не разной по времени бывает воля Твоя. Воля, желающая то одного, то другого, не может быть бессмертной. Это ясно мне «пред лицом Твоим» и да проясняется, прошу Тебя, все больше и больше: да пребуду я в откровении этом смиленно под крылами Твоими.

Также сказал Ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что все создания и все субстанции, которые не то, что Ты, но которые все же существуют, созданы Тобой; не от Тебя только то, что не существует. Уклонение воли от Тебя, Сущего, к тому, что существует ущербно, тоже не от Тебя; такое уклонение есть проступок и грех, – но ничей грех не вредит Тебе и не разрушает порядка в твоем Царстве, ни на небесах, ни на земле. Это ясно мне «пред лицом Твоим» и да проясняется, прошу Тебя, все больше и больше; да пребуду я в откровении этом смиленно под крылами Твоими.

Также сказал Ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что не извечны и те создания, для которых Ты единственная радость. Упиваясь Тобой в неколебимой чистоте, нигде и никогда не выявляя изменчивость свою, всегда в присутствии Твоем, всей любовью привязанные к Тебе, не ожидая будущего, не переправляя в прошлое воспоминаний, они не подлежат сменам перемен и не разбрасываются во времени. Блаженны эти создания, причастные блаженству Твоему, блаженны потому, что вечно обитаешь Ты с ними и просвещаешь их. Не знаю, что вернее назвать «небом небес для Господа», как не эту обитель Твою, эти чистые умы, единые и согласные, в нерушимом мире святых духов созерцающие сладость Твою, без единого поползновения уйти, – этих граждан града Твоего на небесах выше нашего неба.

Вот что мне пока стало понятно, Боже мой, когда я слышу, как говорит Писание Твое: «В начале Бот создал небо и землю, земля же была невидима и не устроена, и тьма была над бездной», не упоминая, в какой день Ты это создал. Стало пока мне понятно, что здесь говорится о «небе небес», «разумном небе», где разуму дано познать все сразу, а не частично, не «в загадке», не «в зеркале», а полностью, в откровении, «лицом к лицу»; не познать то одно, то другое, а, как сказано, сразу все, вне всякой смены времен. Не упомянуты дни потому, что земля, невидимая и неустроенная, была вне всякой смены времен, обуславливающей возможность то одного, то другого: там, где нет никакой формы, нигде нет «того» и «другого». Имея в виду, с одной стороны, нечто первоначально организованное, с другой – совершенно бесформенное: то небо, но «небо небес» и эту землю, но землю невидимую и неустроенную. Писание Твое, как стало мне пока понятно, и говорит, не упоминая дней: «В начале сотворил Бог небо и землю», и сразу же добавляет, о какой земле говорится. Упоминая же, что во второй день сотворена твердь, названная небом, оно дает понять, о каком небе раньше, без указания дней, шла речь.

Удивительна глубина слов Твоих, Боже мой, удивительна глубина! С трепетом

вглядываешься в нее, с трепетом почтения и дрожью любви. Ненавижу неистово врагов Писания. О, если бы погубил Ты их мечом обоюдоострым – да не будут они врагами его. Так хочу я, чтобы они погибли для себя, чтобы жить Тобой!

Вот и другие: они не нападают, они восхваляют книгу Бытия и говорят: «Не в том смысле сказал слова эти Дух Божий, написавший это через слугу своего, Моисея, не в том смысле, как ты толкуешь, а в другом, как толкуем мы».

Взяв Тебя посредником, Господь всех нас, отвечаю им так:

18. Вы, пожалуй, скажете, что должно сказанное мне Истиной громким голосом во внутреннее ухо: воистину вечен Творец; субстанция Его никоим образом не меняется во времени. Его воля слита с его субстанцией? И поэтому Он не хочет то одного, то другого; то, чего Он хочет, Он хочет раз и навсегда, а не по-разному: сейчас это, затем то, потом хочет того, чего не хотел, и не хочет того, чего хотел раньше. Подобная воля, воля изменчивая, а все изменчивое не вечно: «Бог же наш вечен».

Сочтете вы ложью и то, что сказала мне Истина во внутреннее ухо: ожидание того, что придет, становится созерцанием, когда оно пришло; и это созерцание становится воспоминанием, когда ожидаемое прошло; умственная деятельность, столь разнообразная, изменчива, и в силу этой изменчивости не вечна. «Бог же наш вечен».

Собираю эти мысли, объединяю их и нахожу, что Бог мой, Бог вечный, основал мир не по какому-то возникшему внове желанию, и что в знании его нет ничего преходящего.

Что скажете вы, спорщики? Это ложь? «Нет», – говорят они. А что еще? Разве неправда, что вся природа, принявшая форму, и вся материя, способная принять форму, получили свое бытие только от Него, в полной мере благостного, потому что Он в полной мере Сущий. «И этого не отрицаем». Что же еще? Вы отрицаете, что есть некие высокие создания, чистой любовью соединенные с Богом истинным и воистину вечным? Хотя они и не извечны, как Он, но они не удаляются от Него и не соскальзывают в пеструю смену времен, а покоятся в подлинном созерцании Его, единого, ибо им, кто любит Тебя так, как Ты учишь, Ты, Боже, являешь Себя, и с них этого довольно: они не уклоняются ни от Тебя, ни к себе. Это «дом Божий», не земной, не из плотной небесной массы, а духовный, причастный вечности Твоей, ибо без пятна он вовеки. Ты учредил его «на веки и веки веков», «положил закон ему», и «он не прейдет». Он, однако, не изначен, как Ты, имея начало: он ведь был создан.

И мы не найдем времени до создания этого дома, ибо «раньше всего создана была мудрость» – сотворены духи разумные и пребывающие в чистом граде Твоем, у матери нашей, которая «вверху, свободна и вечна в небесах». На каких же небесах, как не на тех, которые восхваляют Тебя, на небе небес, которое и есть «небо небес Господа»? И раньше этой мудрости мы не найдем времени, потому что она предшествовала сотворению времени, ибо «раньше всего была

сотворена». Прежде нее, однако, был сам вечный Творец, от Которого она и получила начало, хотя и не во времени, ибо времени еще не было, начало собственного существования.

Итак, он от Тебя, Бога нашего, этот мир, совсем иной, чем Ты, не имеющий самостоятельного существования. Не только до него не было времени, но и в нем его нет, ибо способен он всегда взирать на Лицо Твое, никогда от него не отвращаясь. Поэтому нет в нем изменения и перемены, хотя ему свойственна изменчивость; которая могла бы окутать его мраком и холдом, если бы не был он связан с Тобой великой любовью, которой по милости Твоей сияет и горит, словно вечный полдень.

О, залитая светом, прекрасная обитель! «Я возлюбил красоту твою и место, где обитает слава» Господа моего, своего строителя и владельца. О тебе вздыхаю в странствии моем и говорю Тому, Кто создал тебя: да владеет там и мною, ибо и меня ведь создал Он. «Я блуждал, как потерянная овца», но Пастырь мой, Зиждитель твой, надеюсь, принесет меня на плечах своих к тебе.

Я хочу кое о чем побеседовать – перед Тобою, Господи, – с теми, которые признают истиной все то, о чем в душе моей, внутри, не умолчала Истина Твоя. Те же, кто ее отрицает, пусть себе лают, сколько хотят, оглушая себя самих. Я попытаюсь их убедить: пусть успокоятся и проложат дорогу слову Твоему к себе. Если же они этого не захотят и оттолкнут меня, молю Тебя, Боже мой, «не будь безмолвен вдали от меня». Говори по всей истине в сердце моем, – только Ты будешь так говорить, – я выгоню их вон: пусть вздымают пыль дыханием своим и засыпают ею глаза свои; да войду «в комнату мою» и воспою тебе песню любви, стеная «стенаниями неизреченными» в странствии моем. И вспоминая Иерусалим, вознесусь всем сердцем к тебе, Иерусалим, отчество мое, Иерусалим, мать моя, и к Тебе, царящий в нем и его просвещавший, отец, хранитель, супруг, к его усладам чистым и крепким, к радости прочной, ко всем его несказанным благам, ко всем вместе, ибо Ты единое истинное и высочайшее благо. Да не отвращусь от Тебя, пока Ты не водворишь меня в покое ее, покое дорогой матери, где находятся начатки духа моего, откуда все мое достоверное знание; пока не соберешь меня, рассеянного, не преобразишь, безобразного, и не утвердишь в вечности, Боже мой, Милосердие мое.

С теми же, кто не объявляет всех этих истин ложью, кто чтит святые книги Твои, написанные Моисеем, человеком святым, и вместе с нами ставит их выше всех авторитетов, которым надлежит следовать, но тем не менее кое в чем нам возражают, я побеседую так. Ты же, Боже наш, будь посредником между моим исповеданием и возражениями их.

Они говорят: «Это истина, но не то имел в виду Моисей, когда, по откровению Духа, говорил: «В начале Бог создал небо и землю». Именем неба он обозначил не тот духовный, умный мир, всегда созерцающий лик Божий, а именем земли не бесформенную материю». – «А что?» – «То, что мы говорим, то самое разумел и этот великий муж, это и выразил в тех словах». – «Что же именно?» – «Именем земли и неба он хотел сначала обозначить, обобщенно и кратко, весь

этот видимый мир, чтобы затем, при упоминании дней, распределить, как бы расчленяя по частям, все, о чем угодно было так возвестить Святому Духу. Люди, составлявшие тот грубый, плотский народ, с которым он разговаривал, были таковы, что, по его суждению, показать им можно было только видимые творения Божии». Они соглашаются, однако, что невидимую и неустроенную землю и темную бездну (последовательно показано, как из этого в те дни создано и устроено все видимое и общеизвестное) можно, не впадая в противоречия, считать именно бесформенной материи.

25. Что же? Кто-то скажет, что название земли и неба для этой самой бесформенной и хаотической материи было сначала подсказано тем, что этот видимый мир со всеми созданиями, получившими в нем вполне отчетливый облик, из нее сотворенный и доведенный до совершенства, обычно и называют «землей и небом»?

Дальше? Кто-то еще скажет, что земля и небо – подходящее название для видимой и невидимой природы, так как оно охватывает в этих двух словах все, что Бог сотворил Мудростью, т.е. Началом. Все, правда, сотворено не из самой Божественной субстанции, а из «ничего»: творение не имеет самостоятельного существования, как Бог, и ему присуща некая изменчивость, пребывает ли оно, как вечная Божия обитель, или меняется, как душа и тело у человека. Общая для всего созданного, невидимого и видимого, материя, еще бесформенная, но способная принять форму, материя, из которой и будут созданы земля и небо, т.е. невидимые и видимые создания, уже принявшие форму, и обозначается этими названиями: «земля невидимая и неустроенная и тьма над бездной». Тут только та разница: под «землей невидимой и неустроенной» следует понимать материю телесную, еще не оформленную, а под «тьмой над бездной» – духовную материю до того, как был положен предел ее чрезмерной расплывчатости и она была озарена мудростью.

Можно еще, пожалуй, при желании сказать, что «земля и небо» обозначают невидимую и видимую природы еще до получения ими совершенной формы. Когда читаем: «В начале Бог создал небо и землю», то этими словами называется еще бесформенный набросок мира, материя, способная принять форму и послужить материалом для творения: мир уже был в ней, но в состоянии хаотическом, без различия в качествах и формах: упорядоченный и стройный, он и называется небом и землей: первое – мир духовный, вторая – телесный.

Выслушав все это и обдумав, я не хочу «спорить о словах; это не приносит никакой пользы, а только расстраивает слушающих». Для увершания существует «добрый закон, если кто законно им пользуется»: «цель увершания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Наш Учитель знал, к каким двум заповедям возвести весь закон и пророков. Я с жаром исповедую их, Боже мой, свет очей моих в темноте. Чем же тогда помешает мне то, что эти слова можно понимать по-разному? Истина их несомненна. Чем, говорю я, помешает мне, если я иначе пойму писавшего, чем поймет другой? Все мы,

читающие, конечно силимся усвоить и уследить, что хотел сказать тот, кого мы читаем. Веря в его правдивость, мы не осмеливаемся думать, что он говорил заведомую ложь. И если каждый старается понять в Священном Писании мысли самого писавшего, то что плохого, если он увидит в них то, что Ты, Свет всех правдивых умов, показываешь ему как истину? Пусть даже тот, кого он читает, имел в виду иное. И он ведь понимал, в чем истина, хотя и понимал по-другому.

Истинно, Господи, что Ты создал небо и землю. Истинно, что Начало есть Мудрость Твоя, которой «Ты сотворил все». Истинно также, что в этом видимом мире есть две больших части: небо и земля; этим кратким обозначением охватываются все созданные существа. Истинно, что все изменяющееся подсказывает нам мысль о чем-то бесформенном, что может принять форму, изменяться и становиться разным. Истинно, что не подвластно времени настолько слившееся с неизменяемой формой, что и будучи изменчиво, оно не изменяется. Истинно, что для бесформенного, которое почти «ничто», не может быть смены времен. Истинно, что вещество, из которого какой-то предмет делается, может в переносном смысле получить название по предмету, из него сделанному; поэтому и можно было назвать «небом в землей» любую бесформенную материю, из которой созданы небо и земля. Истинно, что из всего принявшего форму ближе всего к бесформенному земля и бездна. Истинно, что не только сотворенное и приобретшее форму, но все, что могло быть сотворено и могло принять форму, создал Ты, «от Которого все». Истинно, что все, получившее форму из бесформенного, было сначала бесформенным, а затем приобрело форму.

Среди такого разнообразия правильных мыслей, да установит согласие сама Истина, и да сжалится над нами Господь наш: будем «законно пользоваться законом», имея в виду его цель: чистую любовь.

И поэтому если кто-нибудь спросит меня, что тут думал Моисей, великий слуга Твой, то исповедь моя не будет исповедью, если я не скажу: «Я не знаю». Знаю только, что мысли его верны.

Да полюбим же друг друга все, кто в этих словах видит истину и признает это, и да полюбим также и Тебя, Бога нашего, Источник Истины, если жаждем именно ее, а не суетного и пустого. Слугу же Твоего, написавшего эти книги, исполненного Духом Твоим, почтим и поверим, что когда он писал, то обратил особенное внимание, по откровению Твоему, на то, что вполне истинно и особенно полезно.

Поэтому, когда один скажет: «Он думал, как я», а другой: «Нет, как раз, как я», то, полагаю, благочестивее скажу я: «А почему не так, как вы оба, если оба вы говорите правильно». И если кто увидит в этих словах и третий смысл и четвертый и еще какой-то, только бы истинный, почему не поверить, что все их имел в виду Моисей, которому Единый Бог дал составить священные книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике?

Что касается меня, то я смело провозглашаю из глубины сердца: если бы я

писал книгу высшей непреложности, я предпочел бы написать ее так, чтобы каждый нашел в моих словах отзвук той истины, которая ему доступна; я не вложил бы в них единой, отчетливой мысли, исключающей все другие, ошибочность которых меня не могла бы смутить. Я не хочу, Боже мой, быть настолько опрометчивым, чтобы не верить, что этот великий муж не заслужил у Тебя такого дара. Он думал, когда писал эти слова, о том, что истинного можем мы найти в них, и о том, чего не можем или еще не можем и что, однако, в них найти можно.

И, наконец, Господи, Ты Бог, а не плоть и кровь, и если человек не видит всего, то ужели от благого Духа Твоего, Который «приведет меня в землю праведную», могло укрыться то, что Ты Сам откроешь в этих словах будущим читателям, если даже и тот, через кого они сказаны, из многих верных мыслей имел в виду лишь одну. Если это так, то эта мысль его будет, конечно, более возвышенной; нам же, Господи, Ты покажешь или ее, или какую Тебе угодно другую истинную – но откроешь ли Ты открытое самому слуге Твоему или другое, вложенное в те же самые слова, только питай нас, чтобы мы не стали игралищем заблуждения.

Вот, Господи Боже мой, как много написали мы о нескольких словах, как много! Сколько сил нам, сколько времени понадобилось бы, если бы так заняться всеми книгами Твоими.

Позволь же мне короче исповедаться Тебе относительно их и выбрать одно правильное толкование, которое внушишь, вернее и добре, хотя многое могло бы мне прийти в голову там, где многое может прийти. Верю и исповедую, что если я передам мысли слуги Твоего, это будет правильно и хорошо, – и я должен пытаться так и сделать. Если же я этого не достигну, да скажу все-таки то, что Твоя истина хотела мне сказать словами Моисея, в которых она сказала ему то, что хотела.

## Книга тринадцатая

Зову Тебя, Боже мой, «милосердие мое»; Ты создал меня и забывшего Тебя не забыл. Зову Тебя в душу мою, которую Ты готовишь принять Тебя: Ты внушил ей желать этого. Теперь не покинь зовущего; Ты ведь предупредил мой зов: упорно, все чаще и по-разному говорил Ты со мной: да услышу Тебя издали и обращусь и позову Тебя, зовущего меня.

Ты, Господи, уничтожил все злые дела мои, чтобы не воздавать по делам рук моих, потрудившихся над отпадением моим, и предупредил все добрые дела мои, чтобы воздать рукам Твоим, создавшим меня: Ты ведь был, когда меня и не было и не стоил я того, чтобы Ты даровал мне жизнь. И вот я существую по благости Твоей, существовавшей прежде, чем Ты создал и меня и то, из чего Ты создал меня. Ты ведь не нуждался во мне, и я не такая величина, чтобы быть Тебе в помощь, Господь мой и Бог мой. Моя служба не избавит Тебя от усталости: Ты не устаешь, действуя; мои услуги не увеличат Твоего

могущества; почет, оказанный мной, не прибавит Тебе чести. Я должен служить Тебе и чтить Тебя, чтобы мне хорошо было с Тобой, от Которого и моя жизнь и возможность чувствовать себя хорошо.

От полноты благости Твоей возникла вся тварь: от нее Тебе никакой пользы; происходя от Тебя, она не равна Тебе, и, однако, должно быть место и ей, доброй, потому что от Тебя получила она существование.

Какие заслуги перед Тобой у «неба и земли», созданный Тобой «в начале»? Какие заслуги перед Тобой у духовных и телесных существ, созданных Тобой по мудрости Твоей? От нее ведь зависели они все, и духовные и телесные, даже в незаконченном и бесформенном виде, стремящиеся к беспорядку, к полной утрате Твоего подобия. Духовное существо, даже бесформенное, выше тела, имеющего форму; телесное бесформенное выше абсолютного «ничто».

Бесформенное таким бы и осталось по Слову Твоему, если бы это самое Слово не призвало его к единению с Тобой и не дало бы ему формы: исходя от Тебя, высшего Блага, «да станет все весьма хорошо». За какие заслуги даровано даже бесформенное состояние? Без Тебя не было бы и такого.

Какие заслуги перед Тобой у телесной материи, чтобы стать хотя бы «невидимой и неустроенной»? Она и такой бы не была, не создай Ты ее. А так как ее не было, то ничем не могла она заслужить своего возникновения.

Какие заслуги перед Тобой были у духовных существ, еще только намечаемых, мрачных, неустойчивых, сходных с бездной, несходных с Тобой? Только то же самое Слово обратило их к Нему, их Создателю, и, озаренные Им, они стали светом и хотя не в равной степени, но все же соответствуют Твоему образу.

Как для тела «быть» не значит «быть красивым» – иначе безобразия бы не существовало, – так и для созданного духа «жить» не то же самое, что «жить мудро» – иначе всякий дух был бы неизменно мудрым. «Благо ему навсегда прильнуть к Тебе», дабы свет, полученный обратившимся к Тебе, отвратившимся не был утерян, дабы не скатился он в жизнь, сходную с мрачной бездной.

И мы, имея душу, являемся существами духовными. Отвратившись от Тебя, Света нашего, были мы в этой жизни «когда-то тьмой» и страдаем в остатках нашей темноты, пока не станем «праведными» в Единственном Сыне Твоем, как бы «горами Божими»; ибо были по суду Твоему как бы «глубокой бездной».

Слова, сказанные Тобой в начале творения: «Да будет свет, и стал свет» я не без основания отношу к существам духовным, уже как-то жившим, способным просветиться светом Твоим. Но как ничем не заслужили они ни такой жизни, которая могла быть просвещена, так не заслужили они и того, чтобы она была просвещена. Тебе не было угодно их бесформенное состояние, они должны были стать светом не в силу существования своего, но созерцая свет просвещающий и сливаясь с ним. Только благодать Твоя позволила им и как-то жить и жить счастливо, ибо они изменились к лучшему, обратившись к тому, что не может измениться ни к лучшему, ни к худшему, – к Тебе, Единственному,

Который просто «есть», для Которого жить – значит жить счастливо, ибо Твое счастье Ты Сам.

Чего не хватало бы Тебе для счастья, – Ты сам для себя счастье, – если бы вообще ничего не было или если бы все оставалось бесформенным. Ты творил ведь не по нужде, а от полноты благодати Твоей; и сообщил созданиям Твоим устойчивую форму вовсе не затем, чтобы радость Твоя стала полнее.

Совершенному, Тебе неприятно было их несовершенство; Ты совершенствовал их и делал себе приятными не потому что, будучи несовершенен, Ты должен был стать совершеннее от их совершенствования. «Благой Дух Твой носился над водами», не они уносили его, словно он опочил на них. Когда говорят, что Дух Твой опочил на ком-то, это значит, что Он дал им покой в Себе.

Недоступная ухудшению, неизменяемая, сама в себе достаточная, воля Твоя носилась над тем, что Ты оживил, но живым жить и жить счастливо не одно и то же, потому что мечутся они в темноте своей. Им остается одно: обратиться к Тебе, своему Создателю, и жить, больше и больше приближаясь к Источнику жизни, и в свете Его видеть свет, совершенствоваться, просвещаться и находить счастье.

Вот предстает мне загадкой Троица, то есть Ты, Боже мой, ибо Ты, Отец, начало мудрости нашей – это твоя Мудрость, от Тебя рожденная, равная Тебе и как Ты извечная, это Сын Твой, через Которого создал Ты небо и землю. Много сказал я о небе небес, о земле невидимой и неустроенной, о мрачной бездне, о духовных существах, которые остались бы бесформенны, неустойчивы и ущербны, не обратись они к Тому, от Которого всякая жизнь: просветившись, стала прекрасной жизнь и возникло небо того неба, которое было потом создано между водой и водой.

Уже в имени Бога я узнал Отца, создавшего это; Началом именовался Сын, через Которого это создано; веря в троичность Бога моего, как я верил, искал я ее в святых речениях Его. И вот «Дух Твой носился над водами». Вот Троица, Боже мой: Отец и Сын и Святой Дух, Создатель всякого создания.

Кто поймет всемогущую Троицу? А кто не говорит о Ней, если действительно говорит о Ней? Редко встречается душа, которая, говоря о Ней, знает, что она говорит. Спорят, сражаются, и никто не увидит этого видения, не имея мира в душе.

Я хотел бы, чтобы люди подумали над тремя свойствами в них самих. Они – все три – конечно, совсем иное, чем Троица; я только указываю, в каком направлении люди должны напрягать свою мысль, исследовать и понять, как далеки они от понимания.

Вот эти три свойства: быть, знать, хотеть. Я есмь, я знаю и я хочу; я есмь знающий и хотящий; я знаю, что я есмь и что я хочу, и я хочу быть и знать.

Эти три свойства и составляют нераздельное единство – жизнь, и, однако, каждое из них нечто особое и единственное; они нераздельны и все-таки различны. Пойми это, кто может. Перед каждым стоит, конечно, он сам: пусть

всмотрится в себя, увидит и скажет мне.

Если, однако, он и найдет в этом что-то сходное и сумеет об этом сказать, пусть не думает, что он понял неизменное Существо, пребывающее над всем: неизменно Его бытие, неизменно знание, неизменна воля. Троичен ли Бог по причине этих трех свойств, или в каждом Лице имеются эти три свойства, так что троично каждое Лицо, или, в том и другом случае, Троица, дивным образом простая и многообразная, закончена в Себе и бесконечна, а потому Она и есть и знает Себя и неизменно полна в обилии и величии своего единства? Кому это легко понять? Как рассказать? Кто осмелится объяснить каким бы то ни было образом эту тайну?

Продолжай свою исповедь, вера моя; скажи Господу Богу твоему: свят, свят, свят, Господи Боже мой, мы крещены во Имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух, и крестим во Имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух, ибо и среди нас через Христа Своего «создал Бог небо и землю», духовных и плотских людей в Церкви Своей. И наша земля до принятия учения «была невидима и неустроена»; нас покрывал мрак неведения, ибо «наставил Ты человека за преступления его» и «суды Твои как великая бездна».

«Дух Твой», однако, «носился над водами», и не покинуло нас, бедных, милосердие Твое. Ты сказал: «Да будет свет; покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, да будет свет». И так как в смятении была душа наша, вспомнили мы о Тебе, Господи, «на земле Иорданской», на горе в Твою высоту, умалившейся ради нас; отвратительна стала нам тьма наша, мы обратились к Тебе, «и стал свет». И вот были мы «когда-то тьмой, а теперь свет в Господе».

И я говорю: «Где Ты, Бог Мой?» Где же Ты? Немного отдохну я в Тебе, изливая душу свою в ликовании и восхвалении, в звуках торжественного празднования. Но до сих пор печальна она, потому что падает и становится бездной, вернее, она чувствует, что и до сих пор она бездна. Ей говорит вера моя, которую зажег Ты в ночи на пути моем: «Почему печальна ты, душа моя, и почему смущаешься? Надейся на Бога. На пути твоем есть светильник: Слово Его. Надейся и терпи, пока не пройдет ночь, мать грешников, пока не пройдет гнев Божий, детьми которого были и мы когда-то, когда были тьмой. Остатки ее мы влечим в теле нашем, мертвом по причине греха «пока не повеет днем и не разойдутся тени». «Надейся на Бога; утром встану и буду созерцать Его; всегда буду исповедовать Тебя. Утром встану и увижу спасение лица моего», Бога моего, Который «оживит и смертные тела наши ради Духа, Который обитает в нас», ибо милосердно парил Он над мраком нашей неустойчивой души. От Него в этом земном странствии получили мы и залог того, что станем светом, и пока еще спасаемся надеждой, но уже сыны света и сыны Божии, а не сыны ночи и мрака, какими, однако, мы были.

Кто, как не Ты, Боже наш, создал над нами твердь авторитета Твоего – Твое божественное Писание? «Небо свернется, как свиток», а теперь оно, как кожа, простерто над нами. Авторитет Твоего божественного Писания стал еще выше с

тех пор, как умерли этой смертью те смертные, через которых Ты нам его дал. И Ты, Господи, знаешь, каким образом одел Ты людей кожами, когда, согрешив, стали они смертны. И тогда, как кожу, простер Ты твердь Книги Твоей, слова Твои, всегда с собой согласные, которые утвердил Ты над нами, действуя через смертных слуг Твоих. Самой смертью своей укрепили они авторитет речений Твоих, через них сообщенных; торжественно распростерся он над всем, что под ним внизу. При жизни их он не распростерся еще так торжественно. Ты не простер еще небо, как кожу; еще не распространил повсюду славу их смерти.

Дай, Господи, увидеть небеса, дела перстов Твоих; прогони от глаз наших туман, которым Ты закрыл их. Там свидетельство Твое подает мудрость детям. Доверши, Боже мой, «хвалу Тебе из уст детей и грудных младенцев». Мы не знаем других книг, которые бы так сокрушали гордость, так сокрушали «врага и защитника», который противится примирению с Тобой и защищает грехи свои. Я не знаю, Господи, не знаю других столь чистых слов, столь убедительно склоняющих исповедаться Тебе, покорно подставив шею под ярмо Твое, бескорыстно чтить Тебя. Дай мне понять их, благий Отец, стоящему внизу, ибо для стоящих внизу утвердил Ты слова Свои.

Есть над этой твердью, верю я, другие воды, бессмертные, недоступные земной порче. Да хвалят они Имя Твое, да хвалят Тебя сонмы ангелов Твоих, пребывающих выше небес; им не надо смотреть на эту твердь и узнавать слова Твои с помощью чтения. Они всегда видят Лицо Твое и читают, не по слогам и во времени, вечную волю Твою. Они читают ее, предпочитают и почтывают; всегда читают, и никогда не преходит то, о чем они читают. Неизменные советы Твои, вот о чем читают они, предпочитая и почтая их. Не закрывается книга их, не сворачивается свиток их, потому что Ты Сам для них эта книга и пребываешь ею вовеки. Ты поставил их над этой твердью и даровал им силу, да взирают на бессилие народов, что внизу, и познают милосердие Твое, возвещающее во времени о Тебе, создавшем время. Ибо «на небе, Господи, милосердие Твое, истина Твоя до облаков». Уходят облака, небо же остается; уходят из этой жизни в другую жизнь проповедники слова Твоего, Писание же Твое распростерто над всеми народами до конца веков, «Небо и земля прейдут, но слова Твои не прейдут», и кожа свернется, и трава, над которой она была простерта, уяннет с красотой своей, «слово же Твое пребывает вовеки». Сейчас оно предстает нам не таким, как есть, а как «загадка», видимая сквозь облака «в зеркале неба», потому что и для нас, хотя и любимых Сыном Твоим, «не ясно, чем мы будем». Он разглядывал нас сквозь сети тела, приласкал, обжег любовно, и мы бежим «на запах Его аромата». Но когда Он появится, мы уподобимся Ему, ибо увидим Его, как Он есть; увидеть Его, как Он есть, Господи, это наш удел, но пока мы им не владеем.

Так, Господи, так молю Тебя, как даешь Ты радость и силу: так да родится «на земле правда, и справедливость взглянет с небес на землю», и «возникнут на тверди светила». Преломим хлеб наш с тем, кто голоден, введем под кров наш бездомного, оденем нагого, не будем презирать рабов, таких же людей, как мы.

Земля родила плоды, посмотри на них: они хороши; «да вспыхнет во время свет наш», и за дела наши – урожай низкого качества – получив радость созерцать Слово жизни, да явимся, как «светила в мире», укрепленные на тверди писания Твоего. Там научишь Ты нас различать между умопостигаемым и чувственным, как между днем и ночью, как между душами, обращенными к умопостигаемому, и обращенными к чувственному. И Ты уже не один в тайных решениях Твоих, как было до создания тверди, отселяешь свет от мрака: духовные создания Твои, размещенные на той же тверди по благодати Твоей, явленной миру, сияют над землей, отделяют день от ночи и отмечают время: «древнее прошло, теперь все новое», «приблизилось спасение наше», когда мы в него поверили. Ночь проходит, день уже приблизился, и «Ты благословляешь венец года Твоего» и «посылаешь работников жать на ниву Твою», над которой, засевая ее, «трудились другие». Ты посылаешь их на другую ниву, жатва с которой будет снята в конце веков.

Так исполняешь Ты молитвы просящего и благословляешь годы праведника. Ты же всегда Тот же, и в годах своих, которые не убывают, готовишь житницу для годов преходящих.

По вечному совету Твоему посылаешь Ты в свое время на землю дары с небес: «одному дается Духом слово мудрости», – это великий светильник для тех, кто наслаждается, как утренней зарей, ясным светом истины – «другому от того же Духа слово знания – это светильник меньший, – тому вера, «тому дар врачества, тому дар чудес, тому пророчества, тому способность различать духов, тому дар языков», – все это как звезды. «И все это дело одного и того же Духа, Который уделяет каждому свое, как Он хочет», и заставляет светила появляться и сиять на пользу.

Знание же, объемлющее все таинства, которые меняются со временем, как луна, а также прочие дары, упомянутые мною в сравнении со звездами, отличаются от яркого сияния мудрости, как ликующий рассвет от сумерек. Они необходимы, однако, для людей, с которыми разумнейший слуга Твой «не мог разговаривать как с духовными, а только как с плотскими», он, который «проповедует мудрость среди совершенных».

Душевный человек – это младенец Христов, пьющий молоко, пока не окрепнет настолько, что сможет вкушать твердую пищу и смотреть прямо на солнце; пусть не считает себя покинутым в ночи, но довольствуется светом луны и звезд.

Вот в чем наставляешь Ты нас, Премудрый Боже, Книгой Твоей, твердью Твоей: да научимся в дивном созерцании различать все, хотя еще только в «знамениях, во временах, в днях и годах».

Благодарю Тебя, Господи! Мы видим небо и землю, то есть верхнюю и нижнюю часть материального мира: существа духовные и телесные. Как украшение этих частей, из которых состоит вся громада вселенной, вообще весь созданный мир, мы видим свет, сотворенный и отделенный от тьмы. Видим небесную твердь, находящуюся между духовными верхними водами и материальными нижними,

первое тело мира, и это воздушное пространство, которое тоже называется небом, в котором носятся птицы небесные между водами, которые, как пар, поднимаются над ними и в ясные ночи оседают росой, и теми, которые падают тяжелыми ливнями. Мы видим красоту вод, собранных в морские пространства, и сухую землю, то голую, то видимую и устроенную, мать трав и деревьев. Видим светила, сверкающие вверху: солнце, без которого не будет дня, луну и звезды, которыми утешена ночь: все они отмечают время и обозначают его. Мы видим, что влажная стихия населена рыбами, чудищами и крылатыми существами, ибо плотность воздуха, поддерживающая полет птиц, создается водными испарениями. Мы видим, что лик земли украсили земные животные, видим человека, созданного по образу и подобию Твоему и поставленного над всеми неразумными животными в силу Твоего образа и подобия, то есть в силу разума и понимания. И как в его душе одна сторона рассуждает и приказывает, а другая повинуется и подчиняется, так создана телесно для мужа и женщины; природа ее по разуму и пониманию равна его природе, но по своему полу женщина подчинена полу мужскому, подобно тому, как желание действовать осуществляется по указанию разума, как действовать правильно. Итак, мы видим, что и каждое создание хорошо, а все, взятое вместе, очень хорошо.

Хвалят Тебя, Господи, дела Твои, да полюбим Тебя; и мы любим Тебя, да хвалят Тебя дела Твои. Во времени их начало и конец, восход и закат, подъем и спуск, красота и ущерб. За утром следует вечер – и незаметно и явно. Все создано из «ничто» Тобой, но не из Твоей субстанции, а из материи, не какой-то, Тебе непринадлежащей, существовавшей и раньше, но из созданной Тобою тогда же, ибо ей, бесформенной, дал Ты форму без всякого промежутка во времени.

Материя неба и земли разная, различен вид неба и земли; материю же Ты создал из «ничто»; мир из бесформенной материи; то и другое создал Ты разом: материя приняла форму без всякого замедления и перерыва.

Мы раздумывали, какой аллегорический смысл хотел Ты вложить в такую последовательность творения или в такую последовательность повествования о нем. Мы увидели, что каждое создание в отдельности хорошо, а все вместе взятое очень хорошо; в Слове Твоем, единственном Сыне Твоем, увидели мы небо и землю, Тело и Главу Церкви предопределительно до всякого времени, без утра и вечера. А когда Ты начал осуществлять предопределенное во времени, дабы явить тайное и упорядочить наш беспорядок – грехи наши превысили голову нашу, и, отойдя от Тебя, зашли мы в пропасть мрачную, но парил над нами благой Дух Твой, чтобы в свое время подать нам помощь – Ты оправдал безбожников, отделил их от грешников и укрепил авторитет Книги Твоей среди высших, покорных Тебе, и низших, им подчинявшихся; собрал неверных в единое, единодушное общество, да проявится рвение верных и да творят они дела милосердия, раздавая бедным блага земные ради приобретения небесных.

И тогда зажег Ты на тверди светильники: святых Твоих, имеющих слово жизни, сияющих духовными дарами и потому высокоавторитетных; тогда же для

обращения народов неверных из телесной материи извлек Ты таинства, чудеса, прорицания в соответствии с твердью Книги Твоей – она благословение и для верных, – а затем образовал душу живую верных, упорядочив их чувства силой воздержания. Разум, подчиненный только Тебе и не нуждающийся ни в каком человеческом авторитете для подражания, Ты обновил по образу и подобию Твоему, подчинил, как женщину мужчине, деятельность руководству ума и пожелал, чтобы всем Твоим слугам, необходимым в этой жизни для усовершения верных, эти самые верные оказывали помощь в их житейских нуждах; в будущей жизни принесет она плоды обильные.

Мы видим все это и видим, что это очень хорошо, потому что это Ты видишь их в нас, Ты, давший нам Духа Святого, чтобы мы видели дела Твои и в них любили Тебя.

Господи Боже, давший нам все, пошли нам покой, покой отдыха, покой субботы, покой, не знающий вечера. Весь этот прекрасный строй очень хороших созданий, совершив свой путь, пройдет; у них будет свой вечер, как было свое утро.

Седьмой же день не знает вечернего заката, ибо Ты освятил его, да продолжится вечно. После трудов Своих, весьма хороших, Ты отдохнул в седьмой день (хотя и творил, не выходя из состояния покоя). И голосом Книги Твоей возвещено нам, что и мы после трудов наших, потому «весьма хороших», что Ты дал нам закончить их, в субботу вечной жизни отдохнем в Тебе.

И тогда Ты так же отдохнешь в нас, как сейчас в нас действуешь. И наш отдых будет Твоим, как и наша работа – Твоя. Ты же, Господи, всегда действуешь и всегда отдыхаешь. Ты видишь вне времени, действуешь вне времени и отдыхаешь вне времени – но нам даешь видеть во времени, создаешь само время и покой по окончании времени.

Итак, мы видим, что Ты сделал, ибо мир существует, но существует он потому, что Ты его видишь. Глядя на внешний мир, мы видим, что он существует; думая о нем, понимаем, что он хорош; Ты тогда видел его уже созданным, когда увидел, что нужно его создать.

И мы теперь испытываем побуждение делать добро, после того, как сердце наше начало от Духа Твоего мысль об этом; раньше нас, покинувших Тебя, подвигало на злое; Ты же, Господи, Единый, Благой, не прекращал творить добро. И у нас есть, по милости Твоей, некие добрые дела, но они не вечны. Мы надеемся, однако, что, закончив их, мы отдохнем в Твоей святости и величии. Ты же, Благой, не нуждаешься ни в каком благе и всегда отдыхаешь, ибо Твой отдых Ты сам.

Кто из людей поможет человеку понять это? Какой ангел ангелу? Какой ангел человеку? У Тебя надо просить, в Тебе искать, к Тебе стучаться: так, только так ты получишь, найдешь, и тебе откроют.

Ред. [Golden-ship](#), 2010